



НОВАЯ ПОЛЬША 7-8/2015

Содержание

1. О КНИГАХ
2. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
3. БЕСЕДА С НОВОИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АНДЖЕЕМ
ДУДОЙ
4. ДОЛИНЫ ПОД СНЕГОМ
5. ИМПЕРИЯ: ПУТЬ РОССИИ К ЕВРОПЕ ИЛИ ОТ НЕЕ
6. ВОЗВРАЩЕНИЕ КУХАЖЕВСКОГО В РОССИЮ
7. О ДУХЕ БЕЗЗАКОНИЯ
8. ЭТО БЫЛ ЧЕЛОВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
9. ВАРШАВСКИЙ ПАРК ЛАЗЕНКИ — ЗАБЫТАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ
РОМАНОВЫХ
10. БОРИСЬ!
11. СТИХОТВОРЕНИЯ
12. В ПОИСКАХ «НЕСЛЫХАННОЙ ИДИОМЫ»
13. ДЕНЬ И НОЧЬ
14. «КУЛЬТУРА» ГЛАЗАМИ ЛЕОПОЛЬДА УНГЕРА
15. ЧАСОВЩИК И ВИНТИКИ
16. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
17. КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
18. ПАРАДОКСЫ ВОСПРИЯТИЯ, ИЛИ НЕВИДИМЫЙ ХОЛОКОСТ
19. УТОНЧЕННАЯ НОТА СЕЦЕССИОНА
20. КОФЕ ПО-ВАРШАВСКИ
21. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУКИ ВЕДЕТ К МОРАЛЬНОМУ
ОПУСТОШЕНИЮ

О КНИГАХ

Когда мы решили, что темой нашего сегодняшнего разговора будут книги, вы сказали — как всегда, чуть шутливо и вскользь: ну да, ведь книги — это главное. И попали в самую точку. Для меня, во всяком случае, они — главное. Совсем недавно я понял, что жизнь моя прошла на верхней ступени стремянки, с которой достают книги — те, что читают редко, те, что стоят под потолком.

С книгами — как с сановниками: чем выше стоят, тем меньше нужны. Так делают все; а я убираю на верхние полки книги, которые предназначены только для меня, которые никто втихаря не сунет за пазуху и не вынесет из дому под пиджаком, как уже случалось. На верхней полке стоят книги, которые, в сущности, наложили отпечаток и на меня, и на мою картину мира. Более того, они также заразили моего, уже, увы, покойного сына, Пётруся, который подавал большие надежды и который помог мне осознать свою роковую привычку — когда однажды вместе с ним и его старшим братом мы ехали на машине по Италии. Я был тогда эмигрантом, и мне удалось устроить им эти каникулы. Везу их по какой-то пленительной местности и говорю: «Мальчишки, не болтайте, смотрите лучше в окно, мы же едем по Умбрии!» А Пётрусь мне отвечает: «Да чего я буду смотреть, я могу об этом в книге прочитать...». Тогда я понял, что сын — мой достойный преемник.

Я смотрел на мир сквозь полупрозрачные — как если взглянуть на свет — страницы книг. Это стало моей первой, а не второй натурой. То, с чем я сталкивался непосредственно, открылось мне значительно позже.

Я научился читать, когда мне было года четыре или пять, пользуясь тем обстоятельством, что родился в Лодзи. Я появился на свет в районе, главной улицей которого была улица Пшеязд. Сегодня она носит имя Тувима, хотя Тувим жил на улице Анджея. Характерной особенностью улицы Пшеязд было то, что одну ее сторону занимали дома промышленников-фабрикантов, Хайнцеля и Кунитцера, которые из чудесного клинкерного кирпича выстроили длинные жилые здания для рабочих. Они, правда, оказались предками тех домов, которые хотел построить Гомулка и которые подтолкнули наверх Эдварда Герека. Гомулке мечтались кварталы домов с отдельными комнатами или маленькими квартирами вдоль

очень длинного коридора и одним-единственным общим туалетом в его конце. Когда он рассказал об этом на заседании Политбюро, Эдвард Герек сказал: «Нет, у меня трущоб не будет». И в результате вскоре сделался первым секретарем.

Такие дома — роскошь по сравнению с остальной частью города — построили в Лодзи двое немцев, Хайнцель и Кунитцер. По другую сторону улицы были, разумеется, лавочки, в которых жители этих домов могли покупать хлеб и иногда масло, потому что маргарина тогда еще не было (зато было кокосовое масло «Кунерол»). А мне, поскольку мама посылала меня за покупками, пришлось по вывескам выучиться читать. Это были мои первые буквари. Кроме того, благодаря этим лавочкам, я еще в юности приобрел левые убеждения. Я расскажу, хотя к литературе это, в сущности, отношения не имеет.

Мама велела мне купить яиц у пана Менделя. Мендель был серьезным господином с длинной седой бородой, лежавшей на чистом фартуке; когда я, зажав в руке злотый, вошел в его магазин, Мендель разговаривал с паном Войцехом. Разговор был следующий:

— Это что же, Мендель, — сказал пан Войцех, — ты мне за целый лоток даешь шесть злотых, а сам будешь эти яйца продавать по двадцать грошей штука?

— Видите ли, — ответил пан Мендель, — я купец, должна быть выгода.

— Пан Мендель, — подал голос я, — вы не купец, вы эксплуататор! Я уйду, а свой злотый отдам Деду!

Дед был другим лавочником, он продавал также и яйца, но в основном торговал солеными огурцами, которые собственноручно вынимал из бочки, почему мама и не позволяла мне у него покупать. Но на сей раз я отправился к Деду, а вернувшись домой, все рассказал маме. Она сказала:

— Ничего не поделаешь, придется тебе ходить в Поддембице, чтобы покупать дешевые яйца у пана Войцеха, а в магазин больше не пойдешь. Ты слышал, парень? — обратилась она к моему отцу. Когда мама сердилась, то называла его солдатом, а когда была в хорошем настроении, — парнем. — Ты слышал, парень, какой у нас большевик вырос? — На том и порешили.

Итак, я научился грамоте и вскоре принялся за чтение. Книг дома было много. Мама была учительницей польского, а отец, правда, оказался в своей семье вырождением, ибо единственный

среди детей моего деда-композитора не пошел по творческой стезе. Он работал техником-текстильщиком, а инженером стал только после войны, во времена же, о которых я рассказываю, работал на фабрике неких братьев Зайденберг, которые делали дамские чулки.

Мой дед носил красивое имя Авраам и, как я уже когда-то рассказывал, первым начал использовать орган в синагогальной музыке. Все его дети были очень одарены художественно. Так что книг в нашем доме хватало, но я предпочитал те, которые приносила моя тетя, Хелена Грушецкая, женщина необычайной в то время красоты, комическая актриса. На многих были нежные дарственные надписи от польских писателей, поскольку тетя Хеля явно питала слабость к работникам пера. Так вот, первой прочитанной мною серьезной книгой был роман Витольда Хулевича «Божий странник» — биография Бетховена, которую автор надписал моей тетке с такой нежностью, что я не смею привести здесь его слова. Книгу я прочитал с огромным трудом, но одно, во всяком случае, усвоил: был на свете Бетховен. И только поэтому согласился на кошмарную процедуру, которой подверг меня один из потомков деда.

Двоюродный брат отвел меня в бабушкин дом, где стоял рояль, исключительно затем, чтобы я научился играть на этом инструменте. Он поднял крышку и коснулся клавиши — раздался басовый звук; другой рукой коснулся клавиши справа — раздался тоненький щебет или что-то в этом птичьем роде. После чего брат задал мне идиотский вопрос: «Какой из этих звуков выше, а какой ниже?» Я посмотрел на него, как на кретина, и ответил, что не знаю. «Как это не знаешь? Давай попробуем еще раз!»

Он повторил эту игру несколько раз, но мой ответ оставался прежним: не знаю. В конце концов, брат разозлился, стукнул крышкой мне по пальцам, а вернувшись домой, сказал моей маме: «Твой сын дурак, ничего из этого не выйдет». Когда мама спросила меня, что случилось, я сказал: «Сам он дурак! Если бы он спросил меня, какой звук толще, а какой тоньше, я бы сразу ответил!» На этом мое музыкальное образование закончилось. Вот так я не стал пианистом. Потом меня пытались учить играть на скрипке, но учитель обнаружил, что, играя гаммы, я ставлю на пюпитр книгу и листаю страницы (уже тогда я приобрел эту дурную привычку), и отказался продолжать занятия.

Читал я постоянно, так обстоит дело и по сей день. Должен признаться, что в своем преклонном возрасте — возрасте,

который неуклонно приближается к закату, ведь я вышел на финишную прямую — единственное, о чем я действительно сожалею, помимо бесед с людьми, подобными вам, и любования людьми, подобными моей жене, — то нехитрое обстоятельство, что я не успею прочитать все те книги, которые прочитать собирался и которых, быть может, уже и в руки не возьму.

Книг в моей жизни было множество. Когда в 1939 году, по приказу полковника Умястовского — было это, кажется, пятого сентября — мы с отцом вышли из дому, я положил в рюкзак, кроме смены белья и зубной щетки, две: «Смеющегося Пилата» Хаксли и «Лирическую домашнюю аптечку» Кестнера. Хотел взять с собой еще кучу книг, но мать вырвала их у меня из рук, заявив:

— Так ты дойдешь разве что до Новой Сольной, а вам предстоит добраться до Варшавы, где ждет дядя Метек, или до своего полка.

То есть до 36-го Варшавского академического полка «Дети Варшавы», к которому я был приписан.

Книги тем временем — то есть во время между «Божьим странником», которого я тогда еще не понимал, и другими книгами, которые понимал полностью или частично — обеспечили меня самым в моем школьном возрасте главным. Во-первых: им я обязан симпатией моего учителя по польскому языку и литературе Мечислава Яструна.

Второе, что дали мне книги — дружба. Моим товарищем, с которым мы много лет — не скажу, что были неразлучны, но не могли расстаться после уроков — стал мальчик по имени Кароль. Однажды на уроке нам велели написать сочинение — рассказать о недавно прочитанной книге, и мы оба рассказали об одной и той же, довольно редкой. Это были «Сыновья Каина» автора сегодня совершенно забытого. Русский писатель, сын «бабушки русской революции» Брешко-Брешковской. Я обнаружил его фамилию, читая книги, связанные с Россией, которым посвятил добрую четверть своей, в общем, достаточно долгой жизни — по завету Гедройца. «Сыновья Каина» нас сблизили; это была повесть об ужасных страданиях рабов, которые, видимо, не захотели поселиться в «Хижине дяди Тома».

Чтение мое со временем становилось все более разнообразным. Меня, естественно, привлекала проза, но к классике я не особо тянулся. Я предпочитал писателей менее известных, избегая —

как каждый школяр, у которого имеется голова на плечах — списков обязательной литературы. Большинство книг из школьной программы я прочитал снова, уже будучи человеком относительно взрослым — и лишь тогда открыл их очарование. В школьные годы на меня, например, наводил ужасную скуку Бальзак, а также Флобер своей книгой «Саламбо», которую я тогда полагал сухим историческим чтивом, и в подметки не годящимся нашему Сенкевичу, хотя Сенкевич считается первоклассным автором второго сорта, в то время как Флобер почти повсеместно — писателем первосортным. Лишь значительно позже я разглядел тонкость его «Бувара и Пекюше». Даже «Мадам Бовари» не вызвала у меня восторга, а все потому, что эта история, в свое время преследовавшаяся цензурой, стала казаться мне банальной в сравнении с восхитившими меня позже книгами, например, Мопассана или подобными им произведениями немецких писателей, вроде забытого сегодня Эрнста Глэзера, писателя, родившегося в 1902 году, а в 1916-м — ушедшего на фронт. Его «Год рождения 1902» открыл мне глаза не только на судьбу парней, отправленных на бойню.

Из польских писателей наибольший восторг вызывали у меня авторы не слишком известные и сегодня, казалось бы, позабытые. Как, например, Збигнев Униловский или Тадеуш Пайпер, которого я больше люблю как прозаика, чем как поэта, хоть он и был лидером авангарда. С моей точки зрения, лидером он был... как бы это сказать... глуховатым — не ведавшим, что поэзия потому и является форпостом всей польской литературы, что тональная, музыкальная стихия в ней имеет почти такое же значение, как в поэзии русской. «Слышу курантов бой я, здравствуй, меланхолия», как я нередко твержу себе по вечерам. По вечерам, поскольку лишь после дневных трудов, заключающихся в чтении, я принимаюсь за собственные писания.

Память, которая и сегодня редко меня подводит, я натренировал на чтении польской поэзии. Сначала был Тувим, томик стихов которого мама подарила мне, кажется, на двенадцатилетие. Русской поэзии я тогда не знал, поскольку не знал русского языка. Отец мой, как все парни из Конгресувки, во время Первой мировой войны служил в русской армии и, как в русской армии было принято, оказался на другом конце Империи. Кавказских парней посылали к нам — в Варшаву, Лодзь, Калиш. А наших отправляли на окраины Империи. Отец мой сражался на турецком фронте, потом на Двине. Вернулся с Первой мировой с тремя солдатскими орденами Святого Георгия, хотя производил впечатление человека не то что не

воинственного, но прямо-таки сугубо гражданского. Однако он был отважен и умел быть решительным. Итак, отцу моему, хоть он и вернулся с этой войны в так называемой «керенке» — фуражке с овальной трехцветной кокардой (во времена Керенского эти кокарды заменили двухглавого царского орла), не разрешали дома петь русские песни и ругаться по-русски, что явно причиняло ему неудобства. Лишь во время бритья он порой пел русские песни, которые я помню до сих пор, и которых не помнят, наверное, даже самые старые кавказские горцы.

Русский язык и русскую литературу я узнал только в России, и отнюдь не на шахте «Краснополье», куда попал уже в октябре 1939 года. На шахте говорили на волапюке, смеси украинских, татарских и греческих слов, поскольку на Донбассе, где находилась эта шахта, была большая греческая диаспора. Первую девушку, с которой я познакомился, выйдя из шахты — хвала ей за всё, что я от нее узнал и на что нагляделся — звали Римма Кристофилис — красивая греческая фамилия. Подлинный, прекрасный русский язык и великолепную русскую поэзию, которая представляет собой историческое алиби этого народа, я выучил несколько позже.

Книги, которые я читал, все время держали меня на поводу — я сознательно употребляю это выражение, — не подпуская к реальности. Есть писатели, которые стали моими избранниками и которых я хотел бы навсегда сохранить в памяти, которые поразили меня своими описаниями совершенно неизвестных мне и без их помощи недоступных событий, людей, характеров; которые указали мне направление для собственных догадок. Таков Стендаль. Я долго жил в Италии, провел там двадцать семь лет, большую часть из которых преподавал в университетах. Так вот, написанное Стендалем об Италии, в сущности, не только открыло мне глаза на то, о чем я мог там догадываться, но и заменило более близкое знакомство с восхитительной страной, которую я знаю очень хорошо, но которую без книг Стендаля узнал бы не лучше туриста. Стендаль, в отличие от других авторов, не совершил ошибки, о которой я, с вашего позволения, коротко расскажу.

Люди, пишущие об Италии, бывают двух пород: Винкельманы и Стендали. Винкельман — прекрасный знаток искусства, энциклопедист и музейщик, человек, описавший достопримечательности и искусство на уровне почти непревзойденном, сравниться с ним может разве что Муратов — уступает Стендалю во всех отношениях, поскольку знал лишь мир древности, лишь достопримечательности,

произведения искусства. Самый значительный представитель вида Винкельманов — Маркиз де Сад. Де Сад, прежде чем создал свои знаменитые опусы, повествующие о наслаждении издеваться над ближними и собой, издал книгу в форме писем к одной несуществующей маркизе, где, в частности, замечал: «Италия была бы прекрасна, кабы не присутствие итальянцев, народа отвратительного, ибо склонного к разврату, разнузданного и грязного». Так он выразился о стране, где первое, что бросается в глаза в любом городишке, — протянутые от окна к окну, поперек улицы, веревки, на которых сушится чисто выстиранное белье. Такое ощущение, будто итальянцы все свободное время между моментами любовных увлечений посвящают исключительно стирке. Так вот, Винкельманы полагают этот народ достойным презрения, поскольку не знают его языка. Стендаль же и другие, те, кто узнал Италию по-настоящему — что-то в ней понимают и все же любят. Стендали так блестяще знают не только язык, но и диалекты, что величайший из Стендалей завещал написать на своем надгробии: «Анри Бейль, миланец». Ведь любил он не только Милан и одну миланку, кстати говоря, польского происхождения, неверную генеральскую жену.

На момент объединения, в 1871 году, итальянцы итальянского не знали. В 1871 году, когда состоялся плебисцит, в результате которого Италия была объединена и принят общий язык, на языке этом говорил всего миллион итальянцев. То были тосканцы, чей диалект объявили национальным языком Италии и итальянцев, поскольку на нем писал и Данте, и Петрарка, и Боккаччо. И даже более того — еще раньше на нем писал первый итальянский поэт, гениальный, один из величайших властителей истории, Фридрих II Штауфен, Федерико Свево, который правил не Тосканой и не Римом, подчинявшимся Папе римскому, а Апулией и Сицилией. Человек, который под давлением Папы римского отправился в крестовый поход, чтобы договориться или убить тогдашнего правителя Палестины. Фридрих II заключил с ним священный мир, благодаря чему крестоносцы держали в своих руках крепости и порты, а некоторое время — даже Иерусалим. Он вернулся в свою столицу, Бари, и был проклят Папой, поскольку вместо того, чтобы убивать, подписал с врагом мир. Так вот, Федерико был автором первых сонетов, написанных по-итальянски, для которых он выбрал не апулийский диалект, а именно тосканский. И когда я преподавал в Бари, а мои студенты на переменах болтали между собой на местном диалекте, у меня было отчетливое ощущение, что это не они, а матросы с английского корабля, который как раз стоял на рейде, Бари ведь — портовый город.

Что касается писателей, многих я читал с необычайным — прибегну к этому банальному слову — восхищением, а ни с какой не с завистью, которая является лучшей рецензией, но которой я никогда не испытывал, поскольку не мог равняться с этими, столь восхищавшими меня людьми. Огромное количество знакомых объясняется именно тем, что у меня была совершенно нездоровая мания знакомиться с авторами любимых книг. Мне не довелось узнать Стендаля, более того, не довелось мне узнать и Бабея, которого я считаю гениальным прозаиком — после смерти Чехова самым гениальным мастером прозы, возможно, не только русской, человеком роковой судьбы и величайшего таланта.

Не довелось, поскольку в то время его уже не было в живых, он был убит человеком по фамилии Блохин, застрелившим Бабея по приказу Берии, подобно тому, как убивал других великих людей, на которых пал выбор комиссара НКВД. Именно Блохин спустя несколько недель после убийства Бабея, величайшего русского журналиста Михаила Кольцова, а также величайшего российского режиссера Мейерхольда был командирован в город Тверь (тогда Калинин) и вместе с двумя приставленными к нему шоферами, которые свозили из лагеря в Осташкове пленных, застрелил шесть тысяч триста одиннадцать польских офицеров, жандармов и полицейских из осташковского лагеря, которые и сегодня лежат в могильнике в Медном (до которого немцы вообще не дошли, что является главным доказательством, что это было дело рук СССР, а не Германии). Именно по этому вопросу «Новая Польша», которую одиннадцать лет назад велел мне основать Гедройц, вступила в величайшее сражение с российскими шовинистами, самой крупной правой оппозицией по отношению к правящей в России команде — я имею в виду президента и премьера. Это была битва как раз за места, подобные Осташкову, Старобельску, Медному и Пятихаткам.

Однако вернемся к книгам. Единственное, что меня огорчает в преддверии моего девяностолетия — это мысль, что я всё же не успею прочитать все книги, которые собирался; не успею и вернуться к тем, которые уже когда-то читал, чтобы прочитать их еще раз. Но есть у позднего возраста одна привилегия, острое и прекрасное чувство, которое он дарит: я понял, что всё переживаемое мною теперь, — гораздо ярче, светлее, забавнее и гораздо более интригующе, нежели то, что мне довелось пережить на протяжении долгих лет моей так называемой взрослой жизни. Всё, что я теперь вижу и читаю, люди, на которых смотрю, деревья, под которыми с удовольствием прогуливаюсь, открывается каждый раз заново, потому что

мне кажется, будто я испытываю это в последний раз. Это чувство полностью обновляет всякое ощущение. Благодаря ему, вся реальность кажется мне новой, прекрасной и достойной восхищения. С тех пор, как я это осознал, я начал смотреть на мир иначе. Может, не жадно, но с чувством восторга и удивления.

А ведь труд художника, в сущности, сводится к тому, чтобы вызвать чувство удивления вещами уже обжитыми, делами и явлениям, переживаемыми ежедневно, о красоте которых мы просто забыли. Задача художника — вызвать это чувство удивления, восхищения, порой даже восторга. Можно даже назвать это призванием художника и единственной причиной, по которой мы аплодируем ему или читаем с такой жадностью, с какой я бросался на книги.

Ежи Помяновский. Это просто. Повести Ежи Помяновского, записанные Иоанной Шведовской для II программы Польского радио. / Редактор Эльжбета Йогалла. – Краков-Будапешт: Издательство «Аустерия», 2015.

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

- «“Сейчас, когда избиратели уже выразили свою волю, прошу вас воздержаться от радикальных нововведений, особенно касающихся конституционного строя либо способных вызвать у людей негативные эмоции”. С такими словами к польскому правительству обратился вчера Анджей Дуда во время торжественного вручения ему свидетельства о победе на выборах». (Агата Кондзинская, «Газета wyborcza», 30–31 мая)
- «У новоизбранного президента нет никаких конституционных полномочий, чтобы призывать правительство, парламентское большинство и всё еще действующего президента не принимать важных решений, в том числе касающихся основ государственного и общественного строя. Это, скорее, вопрос политической культуры — можно ли в период, когда президентские функции переходят от одного лица к другому, принимать важные государственные решения», — проф. Анджей Цолль, бывший председатель Конституционного трибунала. («Газета wyborcza», 30–31 мая)
- «Согласно нашей конституции, президент олицетворяет лишь одну из трех ветвей власти (президент, правительство, суды), наделенных равными полномочиями и действующими в пределах своей компетенции. Президент представляет государство, но не выступает в качестве его руководителя или главы. Термина «глава государства» в конституции нет вообще. Это всего лишь дань традиции, что-то вроде морального поощрения, символизирующего доверие и признание со стороны граждан за выполнение управленческих функций, которое одобряют не только избиратели президента, но и те, кто за него не голосовал. Президент не может оказаться выше других ветвей власти, не имеет права пытаться подчинить их себе, а по характеру своих полномочий является должностным лицом, взаимодействующим с правительством». (Вальдемар Кучинский, «Газета wyborcza», 5 июня)
- Фрагменты интервью новоизбранного президента Анджея Дуды (беседовал Роберт Мазурек): Р.М.: Что для вас значит патриотизм? А.Д.: Это любовь к родине, но для меня это не просто чувство, но еще и обязанность. Р.М.: Мы часто слышим,

что пора отбросить всю эту мартирологию и перейти к современной модели патриотизма, то есть платить налоги, убирать за своей собакой, не ездить без билета и беречь электроэнергию. А.Д.: Это вы называете патриотизмом? Убрать дерьмо за собственной собакой — это правило приличия, а не патриотизм. Уплата налогов и оплаченный проезд тоже проходят по разряду нормальной человеческой порядочности, я бы не назвал это патриотизмом. (...) Давайте не будем доводить ситуацию до абсурда и путать честность и хорошее воспитание с любовью к родине. Р.М.: Честь? А.Д.: Честь — это когда человек дает слово. И если я беру на себя какое-либо обязательство, то необходимость сдержать данное слово будет для меня вопросом чести». («Жечпосполита», 30–31 мая)

• «Мы стали свидетелями первых после падения коммунистического режима президентских выборов, когда в предвыборной гонке не участвовал ни один из руководителей влиятельных политических партий. (...) Согласно польской конституции, президент скорее властвует, чем управляет. А управляет страной премьер-министр. И хотя главу государства выбирают на прямых президентских выборах и у него есть право вносить в парламент законопроекты, конституция не наделяет президента верховной властью. (...) “Можно стать президентом и потерять власть. Так что партийным лидерам нет смысла участвовать в президентских выборах. Примеры Валенсы и Квасневского наглядно демонстрируют, что это самый настоящий выход на политическую пенсию”, — замечает политолог Рафал Хведорук». (Гжегож Осецкий, «Дзенник газета правна», 11 мая)

• «Президент Бронислав Коморовский посетил Беловежскую пущу, что-то брякнул там о жуках-короедах, после чего отправился на встречу с железнодорожниками. Н-да. Вы можете представить себе, к примеру, президента Обаму, который едет в национальный парк Йеллоустон, в эту сокровищницу живой природы, чтобы увидеться там со строителями какого-нибудь тоннеля? Анджею Дуде не нужно приезжать в Беловежскую пущу, поскольку один из хорошо известных людей в его окружении, представляющих старую гвардию польских консерваторов — это профессор Ян Шишко, бывший министр охраны окружающей среды, который еще в прошлом году заявлял, что в пуще ежегодно можно вырубать до 200 тыс. кубометров древесины! Такой варварской вырубки пуща не переживала уже давно. Если этому человеку не жалко прекраснейшего леса в Европе, что будет с другими лесными угодами?». (Адам Вайрак, «Газета wyborcza», 22 мая)

- «По данным опроса, проведенного ЦИОМом, 58% поляков доверяют Павлу Кукизу, рок-музыканту и бывшему кандидату в президенты. Второе место заняли нынешний президент Бронислав Коморовский и новоизбранный президент Анджей Дуда (по 54% доверия у каждого)». («Тыгодник повсехный», 7 июня)

- «Павел Кукиз родился в 1963 году в Опольской Силезии, в городе Пачкуве. Он рок-музыкант. Учился на факультете управления Вроцлавского университета, затем изучал право и политологию в Варшавском университете, но учебу не закончил. На местных выборах в 2014 году стал депутатом Сеймика Нижнесилезского воеводства от блока «Беспартийное самоуправление». Состоит в комиссии по зарубежному сотрудничеству и в комиссии по культуре, науке и образованию. На президентских выборах 10 мая 2015 г. за него проголосовали 3 099 079 (20,8%) избирателей». (По материалам журнала «Польша», 15-17 мая)

- «Сторонники Кукиза не станут добиваться уменьшения количества депутатов, зато, без всякого сомнения, будут настаивать на лишении их неприкосновенности, равно как прокуроров и судей. (...) Решение о том, кто в итоге попадет в избирательные списки, примет сам Кукиз. “Я буду уполномоченным на выборах и я буду отвечать за то, кто пойдет на выборы по одномандатным избирательным округам”, — заявлял недавно Кукиз в эфире радио «ZET». (...) Во время предвыборного концерта на гданьской Угольной ярмарке он выкрикнул: «Сейчас не время “предвыборной тишины”. Сейчас время радикализма. Время, чтобы мы вернули себе нашу Польшу. И мы сделаем это на осенних выборах. А на их избирательное право мне плевать!». (Яцек Харлукович, «Газета wyborcza», 6-7 июня)

- «За введение одномандатных избирательных округов на выборах в Сейм высказываются 61% опрошенных, а 20% не поддерживают эту инициативу. Против финансирования политических партий из государственного бюджета выступают 74% респондентов, а 15% хотели бы сохранить этот порядок. За введение принципа толкования законов о налогообложении в пользу налогоплательщика высказываются 88% опрошенных, против — 3%. Данные опроса, проведенного институтом «Номо Номини» 22-23 мая». («Жечпосполита», 1 июня).

- Поддержка партий: движение Павла Кукиза — 24,2%, коалиция «Право и справедливость» / «Польша вместе» / «Солидарная Польша» — 24%, «Гражданская платформа» — 21%, партия Рышарда Петру «СовременнаяРР» — 8%,

крестьянская партия ПСЛ — 3%, КОРВиН («Коалиция обновления Республики — Вольность и Надежда») — 3%, «Союз демократических левых сил» — 3%, партия Януша Паликота «Твое движение» — 1%, «Национальное движение» — 1%. Не определились с симпатиями — 10%. Опрос института «Номо Номіні», 5-6 июня. («Жечпосполита», 8 июня)

- «Рышард Петру, бывший советник Лешека Бальцеровича, основал партию «СовременнаяРЛ», выступающую за свободный рынок. Программа партии предусматривает, в частности, прекращение финансирования политических партий из госбюджета, сменяемость депутатов (не более двух сроков подряд), партиципаторный бюджет в каждой гмине, голосование по интернету, (...) ликвидация пенсионных привилегий, упрощение налогового законодательства». (Мацей Орловский, «Газета wyborcza», 30-31 мая)

- «Мне бы хотелось, чтобы в польскую политику приходили люди, имеющие профессиональные достижения в самых разных сферах, как это принято в западных странах. Врачи, ученые, деятели самоуправления, юристы, бизнесмены. К сожалению, многие из тех, кто сегодня заседает в Сейме, умеют работать только депутатами. Однако на мой взгляд, доверие избирателей — это производное от того, чего человек добился в жизни, а парламентская деятельность должна быть лишь инструментом для реализации его идей и замыслов. (...) Два с половиной миллиона человек выступило против передачи государству значительной части денег, сосредоточенных в Открытых пенсионных фондах (ОПФ), и переброски вкладчиков в Управление социального страхования (УСС). Стоя в очередях, эти люди заполняли декларации, чтобы их вновь приписали к ОПФ. Это показывает, что у нашего гражданского общества есть широкое поле для деятельности. Кроме того, подобные вещи наглядно демонстрируют, что от правительства уже никто ничего не ждет. (...) Я — сторонник канцлерской системы, я выступаю за сокращение количества депутатов Сейма до двухсот человек, а сенаторов — до сотни, а также за ограничение депутатских полномочий двумя каденциями», — Рышард Петру («Жечпосполита», 3-4 июня)

- «Рышард Петру (р. 1972) в течение трех лет был советником вице-премьера Лешека Бальцеровича. Кроме того, он является аспирантом последнего и сотрудничает с ним в Фонде гражданского развития. Деятельность Петру протекала в условиях самых сложных для Польши реформ, в том числе реформы пенсионной системы. Он также работал во Всемирном банке, был главным экономистом банков «ВРН» и

«РКО ВР», директором по вопросам стратегии банка «BRE», а также одним из партнеров консалтинговой фирмы «PWC». Руководит Ассоциацией польских экономистов». (по материалам «Ньюсуик Польска» от 8-14 июня и «Жечипосполитой» от 3-4 июня)

- Торжественная презентация нового политического объединения «СовременнаяРЛ». «Мы ожидали, что придет около пятисот человек, максимум — тысяча. (...) Но о своем участии заявили... 9 тыс. человек. Стоимость аренды спортивного зала «Торвар» составила 30 тыс. злотых, оплатили ее наши сторонники. (...) Обычно партии свозят публику на свои мероприятия. К нам же люди приехали сами, организовавшись совершенно самостоятельно. Им просто хотелось там быть, вот они и пришли. И поэтому реагировали очень непосредственно. (...) Поколение Круглого стола правит Польшей вот уже 25 лет, эти люди многого добились. (...) Но мне кажется, что они устали и уже плохо понимают окружающий мир. (...) Я предлагаю полякам вот какую перспективу: мы можем стать своего рода Германией Центрально-Восточной Европы», — Рышард Петру. («Газета wyborcza», 3-4 июня)

- «2008 год. Главный экономист банка «ВРН» Рышард Петру в интервью «Польска The Times» заявляет, что «злотый будет расти. Кредиты в швейцарских франках еще долго будут стабильно выплачиваться без всякого риска». (...) В ноябре 2014 г. он вдруг предлагает людям охладить свой пыл. Прогнозы относительно того, что франк будет стоить 4 злотых, оказывается, не имеют ничего общего с действительностью. Примерно через два месяца после этого швейцарский Центральный банк отпускает свою валюту «в свободное плавание», и цена на нее в какой-то момент начинает колебаться где-то на уровне 5 злотых; сегодня она удерживается в районе 4 злотых». (Филип Спрингер, «Газета wyborcza», 3-4 июня)

- «То, чего не сделал год назад Дональд Туск, сделала Эва Копач. После “слива” материалов следствия по делу о “кассетном скандале”, премьер-министр вынудила подать в отставку всех политиков, чьи приватные беседы оказались записаны на кассеты официантами варшавских ресторанов. Она также извинилась перед избирателями за оказавшееся достоянием гласности содержание разговоров ведущих политиков «Гражданской платформы». (...) Правительство покинут три министра — министр финансов, министр здравоохранения и министр спорта, а также трое их заместителей. (...) Также с должности руководителя группы политических советников

премьер-министра Польши ушел Яцек Ростовский. Яцек Цихоцкий освободит должность координатора польских спецслужб. Свой пост также покидает маршал Сейма Радослав Сикорский. (...) “Слив” информации позволил Эве Копач заодно выразить вотум недоверия генеральному прокурору Анджею Шеремету. (...) О прекращении своей политической и общественной карьеры заявил и бывший министр внутренних дел, а до недавнего времени глава аналитического центра «Гражданской платформы» Бартоломей Сенкевич». (Анджей Станкевич, «Жечпосполита», 11 июня)

- «По мнению генерального прокурора Анджея Шеремета, (...) «не следует называть произошедшее “сливом”. Закон прямо предусматривает предоставление следственного заключения сторонам процесса. Стороны имеют право сделать фотокопию заключения». Фотокопии следственного заключения (в общей сложности 2,5 тыс. стр.) сделали стажеры адвоката, представляющего интересы Марека Фаленты, предполагаемого заказчика “кассетного скандала”». (Сильвия Чубковская, «Дзенник газета правна», 11 июня)

- «Депутат от «Гражданской платформы» Лидия Старонь (...) в 2012 г. вместе с группой коллег по фракции внесли в Сейм два законопроекта: о кооперации и о жилищной кооперации. (...) Депутаты настаивают на необходимости независимого контроля в области кооперации, доступе к информации о доходах руководства кооперативов, упрощении процедуры передачи права собственности и возможности влиять на управление собственным имуществом. (...) Лидия Старонь выбыла из состава созданной по ее инициативе чрезвычайной парламентской комиссии, занимающейся кооперативным законодательством, в феврале, когда была на больничном. (...) Несмотря на формальное неучастие в работе комиссии, г-жа депутат приходит на ее заседания. “Я сделаю всё, чтобы невыгодные для участников кооперации законы никогда не были приняты”, — говорит Лидия Старонь». (Виктор Ферфецкий, «Жечпосполита», 20 мая)

- «Буквально под диктовку нескольких десятков депутатов-охотников были подготовлены изменения в закон, регулирующий охотничью деятельность. (...) При этом были проигнорированы мнения экологов и организаций по защите прав ребенка, требующих запрета на участие детей в охоте, запрета производства и применения ядовитых свинцовых боеприпасов, запрета на подкормку диких животных (нет доказательств, что подкормка снижает убытки сельхозпроизводителей, зато очевидно, что она способствует

чрезмерному размножению животных и заманивает их под дула охотничьих ружей — В.К.), а также запрета травли на охоте. Законопроект поддерживают «Гражданская платформа» и Крестьянская партия ПСЛ». (Эва Седлецкая, «Газета wyborcza», 26 мая)

- «Коалиция экологических организаций «Пусть живут!» и организации по защите прав ребенка протестуют против того, чтобы изменения в законодательстве, регулирующем охотничью деятельность, принимались без учета их мнения. (...) Они также выступают против порядка, согласно которому собственник земельного участка не имеет право не согласиться с тем, чтобы на его земле проходила охота. А также против того, что в животных можно стрелять уже в ста метрах от жилых домов». (Эва Седлецкая, «Газета wyborcza», 27 мая)

- «Охотой в Польше занимаются свыше 110 тыс. мужчин и около 3 тыс. женщин. (...) По некоторым данным, в Сейме и Сенате заседают как минимум 80 охотников, то есть примерно каждый седьмой депутат и сенатор. (...) Каждый 330-й польский гражданин увлекается охотой. При соблюдении принципов пропорциональности и общественной партиципации оказалось бы, что в Сейме и Сенате заседают два охотника. (...) Парламентская комиссия по охране окружающей среды, природных и лесных богатств насчитывает 27 человек, из которых охотниками являются 10 человек, включая председателя. (...) В подкомиссии, занимающейся изменениями в законодательстве об охоте, работает семь человек, шестеро из них — охотники. (...) Животные, находящиеся на воле, являются собственностью Государственного казначейства, но при этом их жизнями распоряжается узкая группа людей, составляющая всего 0,3% нашего общества. А когда животное застрелено, оно становится собственностью охотника. (...) Адам Вайрак лапидарно окрестил это “самой быстрой приватизацией”». (Зенон Кручинский, «Дзике жице», май 2015)

- «Сообщение недостоверных сведений в налоговых декларациях не ставит на их авторе позорного клейма и не лишает его доступа к общественно-политической жизни. Финансовые махинации не влекут за собой потерю сенаторской, чиновничьей или управленческой должности. Пассивность общественного мнения непорядочным людям только на руку, и никаких иных санкций, кроме правовых, здесь наступить просто не может. Правда, и они, как правило, наступают слишком поздно, в результате чего граждане еще больше теряют веру в эффективность и применимость

законов. В конце концов обществу начинает казаться, что государство не работает, поскольку оно катастрофически бессильно и неэффективно. (...) К примеру, в Варшаве вырублено 140 тыс. деревьев. Реакции — ноль. Наглые инвесторы делают с нашим общим пространством, что хотят. (...) Охраны памятников, природы, публичного и культурного пространства не существует как таковой», — Ежи Науман, бывший председатель Высшей дисциплинарной комиссии адвокатуры. («Жечпосполита», 13 мая)

• «В повседневной медийной подаче нормальная политическая дискуссия обычно касается не каких-либо ценностей, а власти, понимаемой как нечто, дающее человеку ощущение превосходства над другими, деньги и привилегии. А сама политическая деятельность, как ее подают СМИ, сводится не к тому, чтобы достичь желаемой цели путем компромисса и конструктивного диалога, но к базарной торговле в стиле “ты мне, я тебе”, интригам и поиску компромата, зачастую откровенно липового. (...) Распространению такого подхода служит, в частности, критерий “выразительности и колорита”, которым редакторы и журналисты руководствуются, приглашая в студию персонажей, гарантированно поднимающих рейтинг программы и ее “цитируемость”. И не потому, что эти люди скажут что-нибудь умное, а наоборот — от них ждут наглости, глупостей и хамства, способных спровоцировать судебный процесс и очередной виток дискуссии. Годы такого “просвещения” не могли не принести своего закономерного результата в виде растущей из года в год группы людей, настроенных исключительно антисистемно, возмущенных и в то же время глубоко обескураженных. (...) В Польше исчезла серьезная политическая, экономическая, социальная и культурная телепублицистика. (...) В странах, где развитие демократической мысли оказалось на долгие годы насильственно прервано диктаторскими режимами правого и левого толка, отсутствие социального просвещения приводит к результатам, которые мы наблюдаем в Греции, Венгрии, Испании — а также в Польше после первого тура президентских выборов». (Казимеж Журавский, «Газета wyborcza», 28 мая)

• «Американская исследовательская организация Pew Research Center провела опрос в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Польше, России и Украине. Очень тревожную реакцию поляков вызвал вопрос: «Если бы Россия вступила в вооруженный конфликт с одним из ваших соседей, являющихся членом НАТО, должна ли твоя страна оперативно оказать этому соседу военную помощь?». 58% немцев, 53% французов и 51% итальянцев ответили «нет».

Выполнить одну из основных обязательств членов НАТО считают необходимым 38% немцев, 47% французов, 40% итальянцев и 49% англичан. (...) Наиболее надежными союзниками оказались американцы (56% ответили «да», 37% — «нет») и канадцы (53% «за» и 36% «против»). (...) 48% поляков считают, что необходимо поспешить на помощь подвергнувшемуся нападению союзнику, а 34% придерживаются противоположного мнения. В контексте польских реалий этот вопрос в действительности означает — нужно ли защищать страны Балтии, если на них нападет Россия?». (Мариуш Завадский, «Газета wyborcza», 10 июня)

- «Согласно результатам опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады, Польша впервые оказалась в первой пятерке стран, которые россияне считают враждебными. (...) Нашу страну отнесли к недружественным 22% опрошенных. Польшу опережают США (73%), Украина (37%), Латвия (25%) и Литва (25%)». («Газета wyborcza», 9 июня)

- «Российская сторона передала послам стран ЕС в Москве список из 89 граждан Евросоюза, на которых распространяются визовые санкции. Среди них 18 поляков, в частности, Богдан Борусевич, Ежи Бузек, Павел Коваль, Станислав Козей, Марек Мигальский, Анна Фотыга, Яцек Сарыуш-Вольский, Рышард Легутко и Рышард Чарнецкий». («Газета wyborcza», 30-31 мая)

- «Депутаты Европарламента в среду призвали Россию «незамедлительно вернуть польской стороне обломки разбившегося в Смоленске правительственного самолета, а также черные ящики, находившиеся на его борту». Это лишь часть резолюции, посвященной взаимоотношениям ЕС и России, в которой Европейский парламент подчеркнул необходимость сдерживания агрессивной политики России». («Газета wyborcza», 11 июня)

- «В среду Сейм принял решение об увеличении с 2016 г. расходов на оборону до 2% ВВП. Законопроект о переустройстве и модернизации армии поддержали 402 депутата, против высказались двое, еще двое воздержались. Сегодня расходы на оборону по отношению к ВВП составляют 1,95%. Ожидается, что после одобрения законопроекта расходы на вооруженные силы составят ок. 800 млн злотых». («Жечпосполита», 28 мая)

- «Со следующего года Польша будет тратить на вооружение, соответствующее требованиям и нормативам НАТО, 2% своего ВВП. Россия, несмотря на экономический кризис, потратит на вооруженные силы 84,5 млрд долларов — это на целых 15% больше, чем в прошлом году. Расходы на эти цели уже

составляют 4,5% российского ВВП. США тратит на вооружение 3,5% своего ВВП, что в абсолютных цифрах значит 610 млрд долларов». (Михал Болтрык, «Пшеглэнд православный», июнь 2015)

- «Украина предоставила нам, в частности, список с фамилиями офицеров, находившихся в лагере в Старобельске (вместе с данными тех, кто находился там уже после расстрела польских военных), инструкцию НКВД относительно обращения с пленными, а также документы, касающиеся уничтожения следов захоронений жертв преступления в Пятихатках под Харьковом. Игорь Кулик, директор Главного государственного архива Службы безопасности Украины, передал отсканированные копии документов на двух CD-дисках руководителю Института национальной памяти Лукашу Каминскому. Это произошло во время визита представителей института в Киев в середине мая». (Марек Козубаль, «Жечпосполита», 1 июня)

- «Вот уже год с лишним российские масс-медиа проявляют большой интерес к преступлениям украинских националистов из ОУН и УПА в отношении поляков. Представители российских СМИ ищут в Польше историков и свидетелей этих трагических событий, готовых выступить в соответствующих телепередачах и документальных фильмах. (...) История тысяч невинных жертв нужна России лишь в качестве очередного орудия антиукраинской пропаганды, направленной также и в адрес поляков», — Лукаш Каминский. («Жечпосполита», 18 мая)

- «Как заявила премьер-министр Эва Копач, Польша примет 60 семей из охваченной конфликтом Сирии. (...) Фонд «Эсфера» добивается, чтобы в Польше нашли убежище 300 сирийских семей». («Жечпосполита», 27 мая)

- «Европейская комиссия хочет, чтобы Польша приняла 2659 беженцев из Сирии и Египта. (...) В 2014 г. Польша предоставила статус беженца 740 лицам, в основном выходцам с российской части Кавказа. Германия удовлетворила 47,5 тыс. ходатайств о предоставлении убежища, Швеция — 33 тыс., Франция и Италия — по 20,6 тысяч». («Газета wyborcza», 28 мая)

- «По данным опроса, проведенного агентством SW Research, 29,8% поляков выступают за то, чтобы принимать беженцев из Сирии вне зависимости от их вероисповедания, 13,1% считает, что Польша должна принимать исключительно христиан, 24,3% не хотели бы видеть в своей стране беженцев, преследуемых исламистами, а у 32,8% собственное мнение по

данному вопросу отсутствует». (по материалам «Ньюсуик Польска» от 8-14 июня)

- «Премьер-министр Эва Копач на встрече с британским премьером Дэвидом Кэмероном за завтраком во Дворце на воде в варшавском парке Лазенки была непреклонна. (...) Решение Кэмерона ограничить социальное обеспечение иммигрантов встретило в Варшаве серьезное сопротивление. “Премьер-министр выразила решительный протест в отношении действий, которые могут привести к дискриминации поляков и других граждан ЕС, легально работающих в Великобритании”, — говорится в сообщении правительственной пресс-службы. (...) Впрочем, заявление британского премьера о том, что в его планы не входит ограничение гарантированного законодательством ЕС права на свободное передвижение, было встречено официальной Варшавой вполне благосклонно». (Бартош Т. Велинский, «Газета wyborcza», 30-31 мая)

- «Свежие результаты опроса поляков по поводу их отношения к иммигрантам опубликовал фонд «Иная Африка». (...) Мы доброжелательно относимся лишь к приезжающим из стран бывшего СССР полякам (47%) и студентам (свое положительное отношение к ним в зависимости от континента происхождения учащихся демонстрируют от 43 до 47%). Доминирует мнение, что Польша не в состоянии принять большое количество иностранцев (61%), а иммигранты из мусульманских стран часто воспринимаются как террористическая угроза (58%). (...) Почти половина (44%) считает, что “правительство относится к иммигрантам лучше, чем к собственным гражданам”». (Иоанна Климович, «Газета wyborcza», 2 июня)

- «Согласно данным Управления по делам иностранцев, в конце декабря 2013 г. количество иностранцев, находящихся в Польше, составило 121 тыс. человек (без граждан ЕС — 60 тыс.). Это один из самых низких показателей во всем Евросоюзе. Африканцев среди них было всего ок. 5400 человек». («Газета wyborcza», 2 июня)

- «По данным Министерства внутренних дел, в 2002-2014 гг. Польша предоставила гражданство 38 120 тыс. человек (включая репатриантов). Это ровно 2 932 паспорта в год. В это же самое время из Польши в среднем выезжали 130 тыс. человек ежегодно». (Бартош Марчук, «Ньюсуик Польска», 8-14 июня)

- «2014 год был для польской экономики особенным в контексте равномерного темпа промышленного роста в каждом

следующем квартале. (...) Национальный продукт «брутто» рос со скоростью 3,3–3,6%, прибавочная стоимость «брутто» — со скоростью 3,1–3,6%, потребление домашних хозяйств — со скоростью 3,0–3,6%. Среднегодовой курс злотого по отношению к евро колебался в пределах от 4,18 до 4,20 злотых за евро. Темп роста капиталовложений в основные средства, после двух лет застоя, увеличился в 2014 г. до 9,2%. (...) Улучшение макроэкономических показателей, а также снижение уровня безработицы, высокие темпы роста экспорта и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита ниже границы 3% ВВП — всё это производит сильное впечатление на тех, кто следит за состоянием польской экономики. (...) Очередные группы экспертов прогнозируют дальнейший экономический рост Польши», — Богдан Выжникевич, вице-директор Института исследований рыночной экономики. («Жечпосполита», 13 мая)

• «Рекомендация Европейской комиссии по освобождению Польши из оков процедуры чрезмерного дефицита, направленная в адрес Совета Европы, еще толком “не остыла” (что уж говорить о ее одобрении Советом Европы). (...) Еврокомиссия четко констатирует, что для стабилизации государственных финансов одних структурных преобразований не достаточно, поэтому самое позднее в 2016 году для снижения дефицита необходимо будет предпринять дальнейшие шаги. (...) Рекомендации Еврокомиссии однозначны: исключение предпочтительных ставок НДС, немедленное сокращение объема пенсионных льгот (выплаты горнякам и сельхозпроизводителям составляют 1,5% ВВП ежегодно и не стимулируют поиск работы за пределами упадочных и неэффективных секторов экономики)». (Януш Янковяк, «Жечпосполита», 15 мая)

• «В 2007–2014 гг. средний доход в перерасчете на одного человека вырос в польской семье номинально на 44%, а реально (с учетом инфляции) на 24%. Быстрее всего растет благосостояние среднего класса, где доходы в перерасчете на одного человека увеличились реально на 28%. (...) Менее всего за указанный период выросли доходы беднейших хозяйств (реально на 15%)». («Жечпосполита», 5 июня)

• «В среднем государство забирает в виде налогов, пенсионных отчислений и взносов на медицинское страхование около 40% заработных плат. (...) Мы в Польше платим меньше — около 32%, поскольку налоги у нас самые низкие в Европе. “Нетто” мы платим еще меньше, поскольку, пользуясь общественными дорогами или отправляя детей в школы, мы тем самым

получаем наши инвестиции обратно», — проф. Эльжбета Мончинская. («Газета wyborcza», 6-7 июня)

• «Почти 100 тыс. злотых в месяц составил размер заработной платы в руководстве компаниями государственного концерна «Польская энергетическая группа» (минимальная зарплата в Польше равняется 1 750 злотых “брутто” — В.К.), занимающихся проектированием и строительством первой польской атомной электростанции. (...) Согласно налоговой декларации вице-министра Здислава Гавлика в первой половине 2013 г., еще до занятия должности в казначействе, он, в качестве вице-президента атомных компаний «Польской энергетической группы», получил доход в размере 599 340 злотых, что составляет почти 100 тыс. злотых в месяц. (...) Бывший министр казначейства Александр Град после увольнения из атомной компании «Польской энергетической группы» стал в феврале прошлого года вице-президентом компании «Таурон» и на этой должности заработал 1 млн 600 тыс. злотых, то есть получал почти 120 тыс. в месяц». (Анджей Кублик, «Газета wyborcza», 29 мая)

• «Корпорация «Сопосо Filips» сообщила, что отказывается от трех своих польских концессий по разработке нефти и земляного сланцевого газа. Корпорации принадлежат одни из самых многообещающих в стране концессий в Поморском воеводстве. (...) “К сожалению, мы не обнаружили достаточных запасов газа, которые могли бы обеспечить его коммерческую добычу”, — сообщила пресс-служба корпорации». (Тадеуш Фурман, «Жечпосполита», 8 июня)

• «Скорее всего, нам уже не стать сланцевым Эльдorado. Шансов на то, что ежегодная добыча сланцевого газа достигнет десятков миллиардов кубометров, немного. Но если бы нам удалось в течение нескольких лет добывать ежегодно, к примеру, 4-5 млрд кубометров, что может оказаться совершенно реальным, то уже стоило бы заниматься разработкой этого газа. Такое количество обеспечило бы четверть общего объема потребления и имело бы большое значение для диверсификации источников энергии и нашей энергетической безопасности», — проф. Гжегож Пеньковский, вице-директор Государственного геологического института. («Газета wyborcza», 19 мая)

• «В 2012 г. штатные экономисты журнала «World Politics» Нольке и Флегенгарт привели Польшу как типичный пример зависимой экономики. Модель зависимой экономики сформировалась в странах Центральной Европы в результате смены общественного строя. Ее характеризуют зависимость

темпа инвестирования от решений зарубежных офисов фирм и банков, трансфер технологий в рамках международных фирм, низкие затраты на образование, а также уступки в пользу квалифицированных работников на коллективных торгах. Эта модель отличается от либеральной рыночной экономики, яркими примерами которой могут служить Великобритания и США. Она также принципиально отличается от политико-институциональной конструкции координирования рыночной экономики, характерной для Германии и Франции», — Миколай Здзярский, адъюнкт кафедры стратегического и международного управления факультета управления Варшавского университета. («Жечпосполита», 13 мая)

• «Польским фирмам выгодно не быть инновационными. Легче принять заказ из Германии на производство какого-нибудь компьютерного узла — это хорошие деньги, и совершенно не нужно создавать постоянное рабочее место для человека, который способен придумать что-то новое, а потом это протестировать. (...) Три года назад Национальная контрольная палата проверила, как расходуются средства Евросоюза на инновации и как функционируют технопарки. Результаты проверки ужасают. Два технопарка работают на высоком уровне, но под видом инноваций там строятся административные здания. (...) Теперь у этих учебных заведений проблемы, поскольку содержание зданий требует денег, тем более, что эти постройки не окупаются. (...) Затраты можно увеличивать до бесконечности, поскольку их легко обосновать нехваткой того или этого. “Может, еще пригодится”, — сказал мэр Фрамполя об окружной дороге, которая стоит пустой. (...) Польский чиновник не может совершить ошибки, административное право такого варианта просто не предусматривает. Поэтому его интересует не достижение серьезных целей, а отсутствие проблем. (...) После вступления Польши в Евросоюз доходы на душу населения здесь выросли в половину. (...) Проблема в том, что Польша бежит за уходящим поездом. После десяти лет в Евросоюзе мы всё еще одна из четырех самых бедных стран Европы. С точки зрения объема экономики в мировых рейтингах мы находимся примерно на двадцатом месте, но если речь идет об открытости, инновационности, конкурентоспособности — то здесь у нас уже не двадцатое место, а сороковое, где-то возле Молдавии и России», — проф. Марек Козак. («Газета wyborcza», 30–31 мая)

• «Почти 8% торговых обязательств польских фирм погашаются через 120 и более дней после наступления срока

исполнения обязательства». «В Венгрии с задержкой на почти четыре месяца оплачивается лишь 1% счетов, в Чехии и того меньше. (...) В самых процветающих странах ЕС вовремя оплачиваются 90% счетов. В Польше — 40%». («Жечпосполита», 15 мая)

• «Все больше появляется в польских СМИ публикаций на тему отвратительных взаимоотношений между начальством и работниками. Часто речь напрямую идет о феодальной модели этих отношений. Суть ее в том, что к работникам относятся, как к своим подданным, которые не имеют права выражать собственное мнение, работодатель видит в работниках не партнеров, а исполнителей своих указаний. (...) Эта жесткая система часто обнаруживает в людях их наихудшие черты. (...) В результате появляется новая каста людей, выдающая за добродетель те человеческие качества, которые традиционно считались отрицательными (наглость, высокомерие, жестокость). Это происходит из-за того, что единственным критерием успеха считается достигнутый результат, а средства, благодаря которым его добиваются, равно как и побочные эффекты, никому не интересны. К этому прибавляется полное отсутствие эмпатии, (...) поскольку она может создавать препятствия на пути к успеху. (...) Унижение другого человека стало наиболее удобным инструментом насаждения новых классовых взаимоотношений в мире, где неравенство считается чем-то совершенно естественным. (...) Всё это превращает общество в сборище людей, считающих друг друга врагами, находящихся в постоянной борьбе между собой — борьбе, победить в которой может только тот, кто более решительно избавится от каких-либо угрызений совести», — проф. Анджей Шахай. («Дзенник газета правна», 15-17 мая)

• «Драки, избиения и иные формы проявления агрессии в больницах и поликлиниках стали носить повальный характер. (...) Вот уже пять лет Главная врачебная палата проводит мониторинг агрессии в службе здравоохранения. (...) Больше всего проявлений агрессии зафиксировано в больницах «скорой помощи». (...) Врач, оказывающий больному скорую медицинскую помощь, обладает статусом должностного лица. (...) Тем не менее, врачи, как правило, оказываются весьма разочарованы содержанием постановлений и решений прокуратур и уголовных судов. Когда сын одного из пациентов избил женщину-врача, сломав ей скулу и нос, прокуратура закрыла это громкое дело в связи с отсутствием общественно значимого вреда, причиненного виновным. (...) Случаи оскорблений еще больше распространены, чем

рукоприкладство. (...) Чаше всего жертвами агрессии становятся спасатели – медики и медсестры». (Катажина Новосельская, «Жечпосполита», 22 мая)

- «В некоторых гминах вообще не занимаются опекой над бездомными животными, которых просто уничтожают, сообщает Высшая контрольная палата. (...) По оценкам палаты, необходимо срочно менять существующие правила и нормы — к примеру, обязать местные власти регистрировать и маркировать таких животных, в особенности бездомных собак, находящихся в приютах. Каждое животное должно получить электронный чип. (...) Половина подвергнувшихся проверке органов местного самоуправления вообще не интересовалась, что происходит с пойманными животными. (...) Случалось, что некоторые животные попадали в питомники, где не осуществлялся ветеринарный контроль, и часто становились там жертвами жестокого обращения». (Уршуля Мировская-Лоскот, «Дзенник газета правна», 29–31 мая)

- «В четверг Европейский суд постановил, что в Польше отсутствует юридическая защита яйцеклеток, а также плодовых и зародышевых тканей, трансплантируемых в польских клиниках. (...) С жалобой в отношении Польши в 2014 г. в суд обратилась Европейская комиссия, которая еще несколько лет назад пыталась призвать нашу страну к порядку в этом вопросе. Польское правительство, однако, постоянно отвечало, что соответствующий законопроект находится в разработке. (...) Возмещение судебных расходов Европейский суд возложил на Польшу». («Жечпосполита», 12 июня)

- «Американская исследовательская организация Pew Research Center провела ряд опросов в шести крупнейших странах ЕС — Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии и Польше. (...) Самого положительного мнения о Евросоюзе (72%) придерживаются поляки; в других странах-участницах опроса позитивный настрой в отношении ЕС демонстрируют 64% итальянцев, 63% испанцев, 58% немцев, 53% французов и 51% британцев). (...) На вопрос «Успешно ли функционирует экономика твоей страны?» утвердительно ответили 75% немцев, 12% итальянцев, 14% французов, 18% испанцев. В Польше 38% респондентов также утвердительно ответили на этот вопрос, но только 16% поляков считают, что экономическая ситуация в стране улучшится в течение ближайшего года (подобную уверенность демонстрируют 23% итальянцев, 38% испанцев и 25% немцев). (...) 61% итальянцев и 56% поляков негативно относятся к мусульманам (среди немцев, британцев и французов — только 1/5 часть). (...)

Нелестного мнения о евреях придерживаются 28% поляков и 21% итальянцев (подобные взгляды высказывают менее 10% немцев, французов и британцев)». (Мариуш Завадский, «Газета wyborcza», 3-4 июня)

- «Паломничество Папы Римского Франциска в Польшу состоится 28-31 июля 2016 г., сообщил кардинал Станислав Dziwisz». («Тыгодник powszechny», 7 июня)

- «На организацию для ребенка первого причастия нужно потратить как минимум тысячу злотых, а некоторые родители не жалеют и пяти тысяч. (...) Платье или костюм обходятся в 350-1500 злотых, альба — 90-150 злотых, обувь 60-150 злотых. Молитвенник, четки, кулон с изображением Богородицы и свеча — 200 злотых. Угощение для гостей — от 900 до 3 тыс. злотых». («Польска», 18 мая)

- «По данным Национального института здоровья — Государственного учреждения гигиены, по сравнению с прошлым годом количество больных сифилисом выросло почти на 25%, триппером — на 1/5, (...) а численность ВИЧ-инфицированных увеличилась почти на 30%». (Янина Биликевич, Иоанна Чвек, «Жечпосполита», 8 июня)

- «Радикальные идеи и фундаментализм становятся все более популярными среди молодых поляков. Остается только молиться, чтобы они поскорее эмигрировали, тогда нам удастся сохранить порядок в стране. Иначе придется поменять правила игры и признать, что эти люди правы», — проф. Януш Чапинский. («Дзенник газета правна», 11 мая)

БЕСЕДА С НОВОИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АНДЖЕЕМ ДУДОЙ

— Кто вы, господин Дуда?

— Новоизбранный президент, с чем я и сам еще не освоился.

— Вы все еще не можете в это поверить? Впрочем, Ярослав Качинский похоже тоже.

— Я тяжело работал на этот результат, у меня ежедневно проходило в среднем по две встречи с избирателями, поэтому я понимаю, как это все произошло, но пока мне еще трудно привыкнуть к новой роли.

— Когда вы подумали, что победа возможна?

— Я так считал с самого начала, иначе я бы не смог вести столь интенсивную кампанию, но три недели назад, когда были объявлены результаты первого тура, я понял, что победа находится на расстоянии вытянутой руки.

— Вы были уверены?

— Нет, еще в воскресенье, когда шло голосование, у меня не было уверенности в победе. Утечки информации были не только в твиттере, до меня доходили данные экзит-поллов. И около 14:00 преимущество, бывшее у меня еще два часа назад, исчезло, результат голосования был 51,5 : 48,5 не в мою пользу.

— Я тогда подумал, что вы все-таки проиграете.

— У меня тоже была тогда минута слабости. Но мы же не разговариваем о политике, потому что я все равно ничего не могу вам сказать.

— Вашим первым решением будет установка памятника жертвам смоленской трагедии, не так ли?

— Пожалуй, все знают, насколько важным был для меня Смоленск, как я переживал эту катастрофу, но теперь мне предстоит быть президентом, а не хранителем или куратором несуществующего музея.

— А строителем памятника?

— Я всегда говорил, что этот памятник должен стоять на Краковском предместье, — там, где собирались тысячи людей. Сами поляки таким способом выбрали для него место.

— На это не соглашаются чиновники, которые отвечают за сохранность памятников старины. Даже на «памятник света»^[1].

— Поэтому мы в спокойном режиме начнем переговоры; возможно, придется расписать конкурс, я ведь не собираюсь решать сам. Но предприму действия по данному вопросу, так как считаю, что этот памятник должен, наконец, появиться, причем в достойном месте.

— Власти Варшавы выбрали для памятника другое место.

— Но скажите, что у этого пункта общего со смоленской трагедией? Ничего. Ведь люди-то собирались именно перед Президентским дворцом.

— Окей. Однако, как вы вообще видите период вашей президентуры? Какой она будет?

— Это будет президентура выполненных обещаний. Я говорил о создании национального единства, и я искренне убежден, что задача президента — служить народу, слушать людей. Ко мне можно будет легко попасть на прием, я приму каждую репрезентативную общественную группу. Президентский дворец будет открыт для всех.

— Ну да, знакомые будут забегать на чашечку кофе.

— Если придут люди с какой-то идеей, проектом, то я их приму, в крайнем случае, мы просто не сойдемся во мнениях.

— Придут геи с предложением легализировать однополые браки — и что тогда?

— Я встречусь с ними, и мы честно поговорим. Я сяду с ними за стол переговоров, потому что они — такие же люди, как я, и заслуживают уважения.

— Вау!

— При чем тут «вау!»? Что вас так удивляет?

— Неужели президент из партии «Право и справедливость» готов разговаривать с геями? Это маленькая революция. «Gays for Duda» («Геи за Дуду») — иными словами, те геи, которые вас поддерживают, — будут в восторге.

— Я в этом не уверен, поскольку искренне скажу им, что не согласен на однополые браки, равно как не вижу повода легализовать партнерские союзы. Зато я хочу облегчать жизнь всем гражданам, и их ориентация не имеет значения.

— Тогда на какие уступки вы бы пошли?

— Гм... (тишина).

— Вы колеблетесь?

— Думаю, было бы возможным признание статуса так называемого ближайшего лица, которое могло бы, к примеру, узнавать в больнице о состоянии здоровья или получать корреспонденцию. Причем это касается отнюдь не исключительно гомосексуалистов. Ведь есть люди пожилые, одинокие, без семьи, зато имеющие друзей или опекунов, которые как раз и являются для них ближайшими лицами. И таким людям следовало бы облегчить жизнь.

— Вы уклоняетесь от ответа.

— Я не уклоняюсь, а говорю о том, на что склонен согласиться. А если статусом ближайшего лица стали бы пользоваться в том числе и геи, то милости прошу. Меня не интересует частная жизнь граждан.

— Есть ли у вас гомосексуальные друзья или приятели?

— Я знаю таких людей, и для меня они просто люди. Их ориентация не имеет для меня значения.

— Могли бы они работать в вашей канцелярии?

— Надеюсь, вы не предполагаете, что я буду спрашивать у людей, которых хочу взять на работу, с кем и как они живут? Я проверю квалификацию, профессионализм, но не стану спрашивать о сексуальной ориентации. Естественно, я не представляю себе, чтобы по канцелярии кто-либо щеголял полуголым, но нарушение нравственных норм вульгарно и пошло независимо от ориентации. Частная жизнь моих сотрудников останется их частной жизнью.

— На следующих выборах вас поддержит Куба Воевудский^[2].

— Я в этом не особенно заинтересован. Несколько раз он переступал границы простого, чисто человеческого приличия, так что я бы даже не принял приглашения на его программу.

— А сами вы что за человек? Вы слушаетесь маму, слушаетесь жену, председателя^[3]...

— Я слушаю всех!

— Только не устраивайте мне здесь избирательную кампанию.

— Я на самом деле люблю слушать людей и в очередной раз убедился в этом как раз во время кампании.

— Неужели вы такой послушный?

— Нет, рассудительный. Я обожаю слушать, чтобы потом самому делать выводы. И люблю, когда люди дают мне советы...

— ...Теперь у нас каждый отлично знает, как надо управлять.

— Однако некоторым действительно есть что сказать, — и их стоит послушать. Но ведь это не означает, что я буду делать всё, о чем мне говорят, — это абсурд.

— А вы обижаетесь?

— На критику? Никогда. Если это не чистый наезд, обыкновенное забрасывание грязью, эдакая огульная критика «от фонаря», то она всегда имеет смысл. Впрочем, я писал об этом в твиттере...

— ...Где критики у вас было выше крыши.

— Благодаря этому я кое-что поправил в своих действиях и поведении, кое-что поменял. Кроме того, я размышлял над аргументами людей, у которых есть ко мне претензии, и иногда приходил к выводу, что это они правы. Меня вполне можно убедить.

— Вернемся на минутку к вашим обещаниям. В конечном итоге вы дали их великое множество.

— Вовсе не такое великое, как утверждают СМИ, но от тех, которые давал, я отступать не намерен. Раз я пообещал, что увеличу квоту, освобождаемую от обложения налогом, то можете быть уверены: я подготовлю такой закон. Я говорил о снижении пенсионного возраста и тоже внесу

соответствующий законопроект, как и такой, по которому каждая бедная семья получит 500 злотых на ребенка. Это всё конкретные обещания, которые я повторяю и по которым прошу требовать с меня отчет.

— Только по этим?

— Эти имеют значение для бюджета. Я говорил еще и о том, что буду защищать польские леса от приватизации, и поддерживаю данное обещание, а также что буду защищать польскую землю от продажи в чужие руки.

— Превосходно, но только вы обещаете такие вещи, на которые не имеете влияния, так как президент может только написать закон.

— Президент может влиять на сейм, чтобы депутаты приняли этот его закон, чем я и буду пользоваться. Буду также информировать поляков во время встреч с ними, а если понадобится, то и через послания, о том, что делается с моими проектами. Наверняка я не ограничусь отправкой закона в сейм, лишь бы отделаться и поставить галочку, — я ведь обещал людям совсем не это.

— А если парламент отвергнет ваши проекты?

— Тогда ответственность за это он возьмет на себя. Я буду просить, убеждать, уговаривать, чтобы такого не случилось.

— И что, разведете руки со словами: я пробовал, но мне не разрешили?

— Рук я не разведу, потому что они будут у меня полностью заняты работой, можете быть уверены.

— О Ярославе Качинском или Дональде Туске можно сказать, что это жесткие парни, а вот Бронислав Коморовский или вы такого впечатления, пожалуй, не производите.

— Ну тогда жаль, что вы меня не видели, когда я встречался с Томашем Лисом^[4].

— Вы отошли в сторону.

— Для того, чтобы резко и жестко поговорить наедине, как мужчина с женщиной, как отец с отцом.

— Это случилось после того, как Лис в злом свете представил вашу дочь.

— Он очень разозлил меня, действительно очень. Трудно было не выйти из себя.

— Лех Качинский когда-то врезал одному прохвосту: «Вали отсюда, старый хрыч». А вы бы сумели?

(смех)

— Думаю, да, но стараюсь избегать таких ситуаций. Однако, сильно разнервничавшись, я бы мог повести себя подобным образом.

— Другое дело, что вы не нервничаете.

— Ой, нервничаю. В ходе кампании, когда к нервному состоянию добавлялась усталость, легко было взорваться, но я как-то контролировал себя. А дома? Теперь, когда я занимаюсь политикой, я редко ссорюсь с женой, поскольку бываю дома так редко, что нам просто жаль времени. А то, что человек иногда вскипает, — ну, тут уж ничего не поделаешь...

— Умеете ли вы стукнуть кулаком по столу, рявкнуть?

— Да, к сожалению, да.

— И где же вы это практикуете, поскольку в «ПиС» за вами такое не водится, а в вашем доме брюки носит жена?

— Агата любит носить брюки, но, если кто-нибудь думает, будто это означает, что я спокойненький и послушненький, то он ошибается.

— А вы помните, как во время информационной тишины перед выборами в твиттере шифровали фамилии кандидатов?

— Краковская колбаса, охотничья колбаса, бигос и пудинг — помню.

— Вот именно: пудинг, малиновый сок, отличник — это всё про вас.

— А вам бы хотелось, чтобы я для нужд избирательной кампании поменял это? В политике меня больше всего смешит искусственность, все эти попытки притвориться кем-то другим, не таким, каков ты на самом деле. Мне что, надо было стать наглецом и грубияном, нахамить кому-нибудь?

— Кстати, а вы матом ругаетесь?

— Я не святой.

— **А выглядите именно так.**

— До чего же обманчива внешность, правда? Знаете, всеобщее убеждение, что я весь такой тихий и воспитанный, — это следствие того, что я стараюсь относиться к людям с уважением, не нападаю на них. Так меня воспитали, и я действительно такой, но разве это порок?

— **Проблема не в том, что люди думают, что вы тихий и воспитанный, а в том, что они думают, будто вы пластмассовый, вы — идеальный продукт политического маркетинга.**

— Я смеюсь над этим, так как на первых порах слышал, что я — чудовище, которым нужно пугать людей, поскольку я буду сажать всех в тюрьмы, забрасывать камнями, устрою здесь Тегеран и средневековье. Это не сработало, поляки не позволили себя запугать, поэтому теперь я пластмассовый?

— **Вас натаскали для нужд избирательной кампании.**

— О да, меня натаскали несколько тысяч пожатых рук, те тысячи людей, с которыми я разговаривал в 240 с лишним посещенных мною поветах. Они умеют обучить гораздо эффективнее, нежели специалисты по маркетингу.

— **Помню вас год назад, два года. Это был другой Анджей Дуда — скованный, негибкий, говорящий на юридическом новоязе.**

— Заявляю со всей ответственностью — никто меня не муштровал для нужд избирательной кампании. Конечно же перед вторыми телевизионными дебатами я прошел короткий тренинг, заключающийся в том, что мне задавали вопросы, — и это всё. Невозможно в течение двух дней сделать из кого-либо другого человека. А остальное — это результат приобретенного опыта и советов самых разных людей, которые звонят и говорят: «Анджей, это было прекрасно, так держать», — или: «Вот это подправь, там у тебя не всё ладно».

— **Вас благословили в ноябре.**

— И что, думаете, меня все это время натаскивали в дудабусе^[5]? В ноябре ничего не происходило, я всё время ездил в Брюссель, потом были праздники^[6], так что в сущности мы по-настоящему начали с января.

— И появился другой Дуда, слишком уж идеальный, ненастоящий.

— Ах, уж эти мне злопыхательства... Спросите, пожалуйста, у людей, с которыми я разговаривал, — разве они пожимали пластмассовую руку, разве я был ненатуральным? Ведь я же ходил не на закрытые встречи с активистами и деятелями, а встречался на рынках, на базарах, в маленьких городках и местечках, причем со всеми, в том числе с моими противниками. У этих людей имелся выбор: они видели действующего президента, за которым стоял весь институт государства, самые важные СМИ, и меня — человека малоизвестного.

— Выхоленного, идеального сына краковской профессуры^[7].

— На то, каким образом меня кто-то воспринимает, я повлиять не могу.

— Даже мама говорила, что вы — человек воспитанный.

(смех)

— А что она должна была говорить?

— Скажите, а вы дрались в детстве?

— Было время, когда я дрался чуть ли не с каждым в классе, потому что быстро вырос и в обиду себя не давал.

— Да бросьте вы, не верю. Вы смотрите, как ходячая реклама Кракова: милый, симпатичный, причесанный, из хорошей семьи...

— ... Откуда, как принято говорить в Кракове, выходят «на улицу».

— Матерь Божья, у нас будем президент, который выходит на улицу!

— Ведь из дворца выходят на улицу, а не куда-то там «во двор», как говорят в Варшаве^[8].

— А откуда вы будет выходить «на улицу»? Из Президентского дворца или из Бельведера^[9]?

— Ну я вот сейчас подумал, что имело бы смысл вернуться к концепции, когда Бельведер — это резиденция для глав государств, посещающих Польшу, где они могли бы принимать

премьер-министра, своих гостей. Это было бы способом показать, что мы — государство высокого класса.

— Звучит так, как если бы вы уже приняли решение.

— Говорю решительное «нет». Бронислав Коморовский живет в Бельведере, может быть, в этом есть смысл. Я должен обсудить это с женой, посмотрим.

— Где будет жить ваша дочь?

— А это решит она сама, в конце концов, ей двадцать лет^[10].

— Что в вас еще краковского? Ханжество?

— О нет, я не согласен, что это краковская черта!

— Целый легион моих краковских друзей говорит, что да.

— Нет, краковяне — люди бережливые, а не лицемерные.

— Одно другого не исключает. А вы скупой?

— Экономный.

— Раз краковянин говорит, что он экономный, это значит — страшный скряга.

(смех)

— Что-то в этом есть... Но я экономлю только на себе, на жене и дочери — никогда.

— Вы были депутатом Европейского парламента, там же финансовое Эльдorado.

— Но мы не поменяли своего уровня жизни, по-прежнему живем в ПНР-овском крупноблочном доме, не переехали. Собирали деньги на квартиру для Кинги.

— Тогда на что вы могли себе позволить?

— На отпуск. Не какой-нибудь совсем уж топовый, ничего похожего на Мальдивы или Сейшелы, но это все-таки в любом случае изрядный расход.

— А уж для парня из Кракова — просто безумие.

— У вас, варшавян, — какие-то совсем другие ставки.

— Нет, мы просто живем только раз.

— Как и мы. Мы обычно выкупаем какие-нибудь путевки, а в частном порядке ездим куда-нибудь поближе, в Германию. Жена организовывала школьные обмены, поэтому у нас есть там довольно много друзей, даже в этом году мы побывали у знакомых близ Гейдельберга.

— **А вы по-немецки говорите?**

— Понимаю, но не говорю. Жена когда-то пробовала меня научить, но сами знаете, как это получается... Мне должно хватить английского, здесь у меня никаких проблем нет, ну и я совсем неплохо говорю по-русски.

— **Пришла пора для самого важного вопроса в этой части.**

— Да?

— **Вы плакали, когда умирал Виннету?**

(смех)

— Не помню, зато у меня стояли слезы в глазах, когда я читал воспоминания бойцов Варшавского восстания, — тех, которые из «Зоськи» и «Зонтика»^[11]. Мне было лет 12-13, книгу дала мне бабушка, и она произвела на меня незабываемое впечатление.

— **Читаете ли вы еще какие-нибудь книги?**

— На случай таких вопросов у меня имеется заранее заготовленный ответ и несколько названий.

— **Но я спрашиваю серьезно.**

— Честно? Для чтения книг в промышленных масштабах у нас в доме существует моя жена. У меня настолько мало времен, что для снятия стресса я беру в руки какой-нибудь детектив, и это всё. Разумеется, я постоянно читаю политическую литературу и любые вещи, которые полезны в профессиональном смысле, но это не считается.

— **Возвращаясь к Виннету, легко ли вас растрогать?**

— Да, я очень растрогивающийся. Только прошу вас, возьмите это в какие-нибудь кавычки, иначе скажут, что у президента проблемы с родным языком.

— **У меня умные читатели. А что может вас растрогать?**

— Например, человеческие истории, иногда чувствительную струну заденет какой-нибудь фильм. Например, «Спасти

рядового Райана» — сцена, где мать, узнав, что ее сыновья погибли на поле битвы, оседает на землю. Не знаю, почему именно это место, но по сей день, когда я вспоминаю ту сцену, у меня мурашки по спине бегают.

— А вы плачете?

— После Смоленска что-то во мне дало трещину. Я тогда оплакал своих друзей, видел их в гробах, и это было страшное переживание, но самым худшим стало нечто другое.

— Расскажите?

(длительная тишина)

— Я поехал в Москву за супругой господина президента. Помню, как отец говорил мне: «Сынок, он так ее любил, а ты теперь привозишь ее в Польшу. Это самая важная минута в истории нашей семьи...»

— Нам не обязательно...

— ...Извините, не могу об этом говорить. Недавно кто-то показал мне телевизионную запись, сделанную в то время. У меня там совершенно изменившееся, какое-то опрокинутое лицо, а под конец я расклеился. Во всяком случае, со времен Смоленска меня легче растрогать.

— А это не доказательство слабости?

— Совсем наоборот! Те, кто никогда не уронит слезу, — отнюдь не кремень-парни. Скорее они несчастные люди, напрочь лишенные чувств. Быть мужиком, быть сильным человеком не означает, что ты являешься эмоциональным калекой.

— А что значит быть лояльным?

— Лояльность — это одна из составляющих человеческой порядочности.

— В министерство юстиции вас пригласил тогдашний его глава Збигнев Зёбро, правда?

— Да, это он предложил мне пост заместителя министра.

— А когда он покинул «ПиС» и перешел в партию «Солидарная Польша», вы за ним не последовали.

— И что же, это была нелояльность?

— **Вы сами догадались.**

— Если бы я ушел в «Солидарную Польшу», меня бы обвинили в нелояльности по отношению к партии «Право и справедливость», по спискам которой я попал в сейм. Для меня в этой истории важнее было другое — «ПиС» создавал Лех Качинский, и я не хотел во имя карьеры покидать эту партию. Тем более что с идеями Зёбро я не соглашался, и мы это обсуждали.

— **Раз обсудили, значит нелояльности уже нет?**

— Действительно нет, потому что тогда мы имеем дело с честной постановкой вопроса. Я пытался убедить Зёбро, мне это не удалось, но я был не обязан поступать так, как он. Если бы ваш коллега решил покинуть редакцию и перешел в другую, а вы считали бы это глупой затеей, то разве вы, невзирая ни на что, пошли бы вместе с ним во имя лояльности?

— **Если бы Лех Качинский хотел сделать что-нибудь, являющееся по вашему мнению глупым, то вы бы все равно пошли за ним.**

— Но там существовали на самом деле совершенно другие отношения, однако, несмотря на это, я бы все-таки в любом случае сказал ему, что думаю на сей счет.

— **А что такое патриотизм?**

— Любовь к родине, но понимаемая не только как эмоция, но еще и как долг.

— **Часто мы слышим, что пора отбросить эту мартирологию и перейти на современный патриотизм: платить налоги, убирать после собаки, пробивать билеты, экономить энергию.**

— И это патриотизм?! Убрать кучу за собакой — это порядочность владельца, а не патриотизм. Платить налоги или компостировать билеты — это обычная, человеческая честность, я бы не назвал это патриотизмом. А если кто-то работает и платит налоги за границей? Разве он тогда не патриот? Это какие-то абсурдные рассуждения, давайте не путать честность или хорошее воспитание с патриотизмом.

— **А честь?**

— Честь — это слово, которое ты дал. И, коль я обязался что-нибудь сделать, то сдержать это свое слово — дело чести.

— В политиках меня неизменно больше всего интересует вот что: каким президентом вам хотелось бы остаться в памяти? Чтобы вас запомнили — как кого?

— Как того, кто вернул полякам достоинство. Чтобы здесь, в Польше, мы чувствовали, что нас уважают, чтобы мы жили достойно — может быть, не сразу утопали в роскоши, но чтобы люди знали, что мы заодно с ними, что политика работает на них, и политики тоже существуют для них. Чтобы за границей нас не покидало чувство собственного достоинства, чтобы могли гордиться Польшей, которая умеет открыто говорить о своих недостатках, но которая гордится своей историей.

— Чем поляки должны гордиться? Стефаном Баторием и Пилсудским?

— Люди не будут гордиться слабым государством, поэтому Польша должна быть государством сильным. Причем сильным в двух аспектах: экономическом и политическом, т.е. Польша должна быть таким государством, с которым считаются в мире. Я знаю, что в течение одного срока моих полномочий нам не догнать мощных стран Европы, знаю, что мы не являемся мировой державой, но это не значит, что нам следует избавиться от своих честолюбивых амбиций. Я бы хотел, чтобы мы были страной, которую ценят.

— А мы таковой не являемся?

— Давайте скажем это себе жестко: сегодня с польским мнением никто не считается, никто нас ни о чем не спрашивает. Я отчетливо видел это, работая в Европейском парламенте, это проявляется в ситуациях разнообразных конфликтов, это было видно и по отношению к войне на Донбассе.

— Что скажет о вас правнук?

— Понятия не имею, но мне бы хотелось, чтобы он гордился прадедом. Чтобы знал: я действительно стремился создать национальное единство, а этого нельзя будет сделать без социального капитала. Люди должны поверить, что мы, поляки, можем участвовать в самых важных делах.

— Пока что люди поддерживающие «Гражданскую платформу» пишут на фейсбуке, что собираются эмигрировать, что не хотят видеть президентом кого-то такого.

— То есть какого? Человека из «ПиС»? Означает ли это, что у кого-то выработалось обо мне вполне определенное мнение на основании его представлений о партии, к которой я принадлежал?

— Ах, уж это прошедшее время...

— Я вышел из партии, как и обещал.

— Но вы вручали Брониславу Коморовскому флаг «Платформы», хотя он к этой партии тоже не принадлежал.

— Я вручал ему этот флаг за нечто иное — за позицию, которую он занимал как президент, поскольку у меня было такое чувство, что для главы нашего государства такое поведение было неуместно.

— Через пять лет кто-нибудь другой сделает вам тоже самое.

— Если это будет заслужено, то я расстроюсь, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы действовать в пользу всего польского общества, а не его части.

— Коморовский тоже был убежден, что действует во благо общества.

— Нарушая свои предвыборные обещания? Повышая пенсионный возраст и налоги?

— Почти половина поляков приняла и одобрила это, его поддержали свыше 8 млн человек.

— Он начинал с 70-процентной поддержки, все говорили, что он выиграет в первом туре. И что же? В ходе избирательной кампании я напомнил полякам, каким образом выглядело это его президентство, и избиратели доверились именно мне.

— Откуда вы знаете, что вас не встретит подобная судьба?

— Не знаю, буду ли я президентом в течение одного срока полномочий или двух, но знаю, что если проиграю, то из-за тех вещей, которые я делал, а не из-за своих упущений. Очень скоро вы убедитесь, что слов на ветер я не бросаю и о своих обещаниях не забуду.

— Вы говорите это далеко не в первый раз.

— Потому что я дохожу буквально до белого каления, видя, как легко политики дают некие обещания, чтобы потом забыть обо

всем! К людям надо относиться всерьез. Я не обещал груш на вербе...

— Правительственные эксперты придерживаются другого мнения.

— Нет, другого мнения придерживаются правительственные пропагандисты, а вовсе не эксперты. Я — человек серьезный и не рассказывал полякам сказок, очки никому не втирал.

— А вы мстительны?

— Пожалуй, нет.

— Я спрашиваю о процедуре передачи власти. Вы с большими эмоциями рассказывали, как чиновники Коморовского перенимали власть 10 апреля 2010 года^[12]. У вас не возникнет желания отыграться?

— Наверняка нет. Причем не потому, что я настолько снисходительный и толерантный, а лишь по той причине, что Бронислав Коморовский является президентом Речи Посполитой, чей мандат вскоре как раз истекает. Величие Речи Посполитой требует определенного уважения к главе государства.

— А вы тоже будете священнодействовать по поводу себя? Я знаю одного епископа, который после рукоположения в сан велел коллегам обращаться к нему «Ваше преосвященство».

— Да, моим друзьям тоже придется обращаться ко мне «уважаемый господин президент», опускаться на одно колено и целовать перстень. Кстати, надо каким-нибудь обзавестись.

— Это разойдется по миру...

(смех)

— Не пугайте меня, пожалуйста. Уважение наших граждан я постараюсь заработать сам, а не требовать его исключительно на основании своей функции.

— Будете ли вы как президент так же свободны и раскованы, как Дональд Туск, который хотел быть именно таким премьером?

— Нет, я говорил вам, что не буду притворяться никем другим.

— А мячик гонять будете?

— Иногда я играю в футбол, но больше всего люблю ходить на лыжах, и наверняка от этого не откажусь. Если только охрана разрешит, я вполне могу покататься с любым, кто приедет на склон, — приглашаю!

— Значит, горы только зимой?

— Когда-то я часто ходил в горы, теперь у меня осталась только ежегодная экспедиция с друзьями из харцерского отряда, мы ходим в Бескиды, Горце, в те окрестности...

— А будете ли вы в Варшаве сбегать от охраны?

— Нет, не следует осложнять людям работу.

— И в кино ходить не будете?

— Буду.

— С охраной?

— Надеюсь, они не будут храпеть на фильмах.

— А при случае заскочите в хипстерский ресторанчик на площади Спасителя?

— Почему бы и нет? Я только проинформирую охрану, куда иду, и попрошу их: «Не сходите с ума, там нормальные люди».

— Какую музыку вы слушаете?

— «Dire Straits»...

— О, нет!

— «Pink Floyd» лучше?

— Когда я был ребенком, я написал у себя на стене «Pink Floyd».

— А я, когда был ребенком, написал «Lady Pank»... (смех)

— Я был ребенком получше.

— Мало того, с харцерских времен у меня осталась симпатия к группе «Старе добре малженство».

— Соотечественники, вы плохо выбрали себе президента.

— Все, поезд ушел.

— Браво за быструю реакцию.

— Не стану притворяться, что музыка — моя страсть, я остановился где-то на этапе «The Cranberries», у меня осталась привычка слушать их в машине. Временами могу послушать Адель.

— Вы когда-нибудь принимали наркотики?

— Ну что вы?! В жизни!

— Тогда откуда вы черпаете энергию? В ходе кампании вы не спали, а буйствовали как человек с синдромом гиперактивности.

— Я — энергетический вампир, толпа меня возбуждает, я себя превосходно в ней чувствую. Когда я вижу, как люди реагируют, я испытываю прилив энергии, это придает мне сил, меня просто несет на каком-то невероятном адреналине.

— Это было видно.

— Последние 24 часа избирательной кампании мы ехали «дудабусом» по Польше. Я поспал, может, часика два, и когда поздно вечером мы вышли в Кракове, подо мной подгибались ноги; но увидев тысячи людей, которые приветствовали меня на Главном рынке возгласами «виват», я ринулся в толпу и забыл обо всем.

— Вы курите?

— В конце концов, надо же иметь хоть какие-нибудь слабости.

— Причем дамские сигареты.

— Чего это они дамские?!

— Может, я не больно разбираюсь в сигаретах, но выглядят они бабскими.

— Теперь все сигареты так выглядят.

— Ваша жена курит?

(смех)

— Даже в уголовном кодексе написано, что против ближайших родственников показаний не дают!

— А дочь?

— Не при мне.

— Выходит, вся семья — курильщики? Значит, каждый из вас может стать министром здравоохранения^[13].

— В этой стране — безусловно.

— «В этой стране» — так говорит Куба Воевудский.

— Вы правы, принимаю ваше замечание.

— Ладно, можете закурить, господин президент.

— Да? Ну тогда пошли на балкон.

Беседовал Роберт Мазурек.

-
1. Имеется в виду инсталляция, которая видна после наступления сумерек и создается прожекторами, смонтированными в тротуар перед Президентским дворцом. Столбы излучаемого ими света должны символизировать каждую из жертв смоленской катастрофы. Здесь и далее прим. пер.
 2. Популярный, но весьма одиозный польский музыкальный, теле- и радиожурналист, публицист, сатирик, эссеист, шоумен. Его обвиняют в расизме, оскорблении флага, ксенофобии и др. В декабре 2012 г. Общество польских журналистов удостоило его звания «гиена года».
 3. Имеется в виду Ярослав Качинский, председатель и первое лицо партии «Право и справедливость» (ПиС), которая выдвинула А. Дуду кандидатом в президенты.
 4. Едва ли не самый именитый польский телеведущий и публицист, известный своим агрессивным стилем. 18 мая 2015 г. перед вторым туром президентских выборов в своей передаче, идущей в прямом эфире, он процитировал мнимое высказывание дочери А. Дуды, Кинги, обидное для нее.
 5. Это очередная версия давно знакомого полякам тускобуса — специального автобуса, на котором Дональд Туск не единожды разъезжал по стране во время избирательных кампаний.
 6. Не только Рождество и Новый год, но также Торжество всех святых (1 ноября) и День независимости (11 ноября).
 7. И отец А. Дуды (электротехник), и его мать (химик) —

профессора Краковской горно-металлургической академии. Сам он окончил в 1996 г. факультет права и администрации Ягеллонского университета в Кракове, после чего работал там преподавателем и защитил диссертацию, которая в 2008 г. вышла в виде книги.

8. В диалоге обыгрывается тот факт, что в Кракове и Варшаве о многих обыденных вещах говорят по-разному. Да и вообще, отношения между жителями этих двух городов, между старой (культурной) и новой (административной) столицами напоминают ситуацию Москвы и Петербурга...
9. Резиденция президента — одна из довольно острых политических проблем современной Польши. Бельведер — дворец в Варшаве, издавна служивший резиденцией глав страны, в т. ч. великого князя Константина, который с 1814 г. был фактическим наместником Царства Польского, затем Ю. Пилсудского, президентов РП Ч. Нарutowича и С. Войцеховского, а также вновь Ю. Пилсудского. После войны до 1952 г. тут было местопребывание Б. Берута, затем — председателя Госсовета ПНР, а в 1989-1994 гг. — резиденция президента РП. После окончания ремонта крупнейшего в Варшаве Президентского дворца президент перебрался туда, хотя жилые апартаменты Б. Коморовского занимали один этаж Бельведера.
10. Дочь А. Дуды — студентка юридического факультета Ягеллонского университета в Кракове.
11. Харцерские батальоны названы подпольными псевдонимами павших героев восстания.
12. В этот день под Смоленском разбился самолет ТУ-134 с польской правительственной делегацией, в числе почти ста погибших был действующий президент Лех Качинский, и страна осталась без президента. Его обязанности временно принял тогдашний маршал сейма Бронислав Коморовский.
13. Как минимум, трое из числа последних министров здравоохранения Польши: покойный проф. Збигнев Релига, ставшая недавно премьером Эва Копач и занимающий ныне этот пост Бартош Арлукович — заядлые курильщики.

Сергей Морейно

ДОЛИНЫ ПОД СНЕГОМ

To be conscious is not to be in time

But only in time can the moment in the rose-garden...

Thomas Stearns Eliot

Я мог бы поставить сюда эпитафиями десятки различных фраз, собранных мной. Однако по мне так и два эпитафия подряд — сущая безвкусица, и чтобы они не пропали, пускай подменяют собой номера главок. Но именно всего лишь подменяют — визуально, как иероглифы — оставаясь на том языке, на котором я их нашел.

Отчего бы не начать — не продолжить — цитатой из Эдуарда Лимонова? Начну: «Его застрелили в упор в холле белградского отеля „Интерконтиненталь”». У судьбы хороший лингвистический слух: чуткому Лимонову оставалось лишь принять — что? — брошенный ею вызов? отданный пас? Когда «Белград» и «Интерконтиненталь» произносятся практически без паузы, тревога повисает в воздухе, как пороховая гарь. Остается лишь ожидать выстрела в упор.

Однако как писал Чеслав Милош: «Есть на свете благословенные города,/ Есть, должно быть». Не имел ли он в виду городок Рапперсвилль? В розовом саду у подножья замковой горы на берегу Цюрихзее как нигде понимаешь: сад — это не только метафора рая, но порой сам рай в рукотворном исполнении. „In diesem Zusammenhang erlauben wir uns”: «в этой связи мы себе позволяем» — швейцарская форма вежливости. „Dlatego zdecydowaliśmy się”: «поэтому мы решили» — ее контекстуальный польский аналог. Мне же просто хочется, да и давно пора, поговорить о розовом саду в Рапперсвиле, над которым нависает средневековый замок, где почти уже полтора века находится загадочный Польский музей, над которым, правда, уже несколько лет нависает угроза выселения.

Рассуждать о судьбах государств — занятие легкое и безответственное. Нет у меня в крови генетических знаний, хотя дед мой родился в позапрошлом веке на левом берегу Двины, в Друе (линия Второго раздела), не имеется достаточного багажа знаний эмпирических. Долгого опыта

недостает, а короткий — это ряд (пусть и кажущихся) случайностей. Но желание говорить, а также вера или, по крайней мере, надежда на то, что я могу, что я вправе это делать — настоятельны; поэтому, как сказал бы Эйнштейн, исследуем вопрос с совершенно иной точки зрения.

Меня будет интересовать — в обратной перспективе — некий штрих, легкий, как след истребителя над Цюрихским озером, метафизическая линия (что?), ведущая через вымпел с улыбочивым рапперсвилльским гербом на замковой башне (где?) из января 1863 года (когда?) в неведомое трансцендентное «куда?», которое может оказаться чем угодно: сегодняшней Польшей, горой Арарат, банкой рижских шпрот или же гномом, штудирующим акупунктуру.

В дороге всегда возникают непредвиденные расходы.

Хочешь их избежать — сиди дома.

Франциска Цверг

Современная гуманитарная мысль виртуозно пользуется своими иероглифами, но мне не хватает в ней практического безумия — либо оно надежно скрыто панцирем самих иероглифов: надежнее, чем мир — покрывалом Майи. Ее маниакально-депрессивная страсть к построению всеохватывающих систем и подсистем (что не пойму, то понадкусываю!); ее боязнь и нежелание стать мифологией и, утратив свой птичий язык, обрести полезные свойства; вечные посягательства на то, чтобы быть искусством, загоняющие ее в глубокое междужанрие — вот она какая, эта мысль. И дефицит рискованного жеста, вроде представления физической величины расходящимся рядом.

Что делать?

Мне не с руки и не по зубам оценивать качество исторических сведений. Я плохой коллекционер, гербарии историографии и источниковедения меня смущают. Моя жизнь в последнее время — это дорога. Гномы по ней ведут, через Magnus Ducatus Литовское, сквозь Польшу, Малую и Великую; ведут карлы, краснолюды, низушки и скшатки по Мазовии, Вармии и Мазурам; дойдя до Кюстринского плацдарма, сдают на руки винцлингам, вихтелям, кобольдам, хайнцельманам...

Всё, что я могу себе позволить — это дорожные записки. В исходной ситуации единственно приемлемый для меня жанр; с некоторой долей черного юмора его можно назвать

«ментальными расчетами» (mental calculation). Сознание, которое не может управлять питающей его жизнью, пытается хотя бы запротоколировать ее. Яркий пример: послеотпускные расчеты — выписки трат в столбик, вычеркивание плановых покупок — в качестве успокоения. Другой пример (братья Вайнеры): за что, где и когда брали при Сталине, попытки «построить систему кары» — хотя, оказывается, «брали везде, всегда, за все, ни за что». Еще один вариант — умственные метания системных администраторов между произведенным одними непредсказуемыми людьми железом и написанным другими, столь же непредсказуемыми людьми софтом, приводящие даже к появлению своего рода картины мира, эсхатологии, философской позиции; к бесплатной (и, само собой, платной) раздаче советов: как поступать с твердотельным диском, например, или как бороться с синим экраном смерти.

«Рахунки» — именно так назывался журнал, который Юзеф Игнаций Крашевский, проживая в Дрездене, издавал под псевдонимом Богдан Болеславита и под эгидой познанского книготорговца Яна Константы Жупанского. «Счета, расчеты, подсчеты» (нынешние «Итоги»?) — специфический комментарий Крашевского по насущным вопросам польского социума эпохи трех разделов. С 1867-го по 1870 год он как бы метафизически, зато довольно остро отчитывался за произошедшее с 1866 года по 1869-й; одной из занимавших его тем была неожиданно плодотворная, хотя и внутренне нестабильная связь поляков со Швейцарией, швейцарцев с Речью Посполитой.

Мне же интересно знать: были ли в России гномы?

Ordnung braucht nur der Dumme,

das Genie beherrscht das Chaos.

Albert Einstein

«...А в Ульяновске две реки текут в разные стороны, и аура тяжеловатая. Раньше я ездила по монастырям: в одном рассказывали, что старец, который принимает паломников, после того, как примет ульяновцев, потом просит отдых — после других, я так поняла, нет», — говорит Гала Узрютова.

А в Гвардейске-городке, он же Тапиау (по карте — направо от Кенигсберга), куда путешественника из Калининграда в Москву легко сманят с трассы местные гномы, река Преголя, текущая вообще-то с востока на запад, разделяется — описав перед тем

небольшую загогулину и подойдя к Гвардейску с юга, — на два потока (так называемая бифуркация). Оба рукава на отрезке длиной в пару километров составляют развернутый угол. Левый рукав — это продолжение Преголи, он и течет себе влево, к Кенигу. Правый рукав сначала резко забирает, соответственно, вправо, а затем уходит вверх, причем считается, что в четырнадцатом веке Тевтонский орден отрыл для него новое русло, перенаправив воды Преголи к истоку Деймы и спрямив саму Дейму на отрезке от Тапиау до Лабиау (Полесск); с тех пор канал или река Дейма указывает строго на север (пока не впадет в Куршский залив).

На месте разделения водных потоков, на улице Дзержинского стоит могучий орденский замок-тюрьма. Он еще старше канала и уже с пятнадцатого века используется хозяевами в пенитенциарных целях. Спустившись по бывшей Бергштрассе и встав на правом берегу Преголи (лицом вниз по карте), можно видеть, как вода из одного и того же места разбегается в противоположные стороны, но уловить линию водораздела не удастся. Лишь непреходящая в веках мощь замка на той стороне реки свидетельствует, что человек может найти себе место в природном равновесии.

Берег покрыт аномальным хаосом, устроенным из сохранившихся после войны обломков и целого моря отходов, свезенных, кажется, из всех уголков области. Вот сарай, находящийся практически посреди перекрестка и выглядящий так, что вспоминаются братья Стругацкие (— Ты узнал? — спрашивает Щекн. — Что именно? — отзываюсь я раздраженно, потому что мне никак не удастся избавиться от этой неведомой соринки, которая портит весь вид. — Погаси в этом здании свет и выстрели десяток раз из пушки...). Вот вполне обитаемый двор на той же Горной улице, в котором, очевидно, не так давно снимали штрейк мусорщиков для голливудского сериала; вот дворовая арка, в ее стенах несколько заколоченных досками отверстий, ведущих прямо в квартиры — по крайней мере, сквозь доски видны обои и оттуда вылезают кошки. Покрытые коростой и слизью дома на улицах К. Маркса и Ф. Энгельса, витрины и вывески магазинов в стилистике не столько польского фильма «Ва-банк», сколько советской многосерийки «Рожденные революцией» ни архаичны, ни провинциальны. Нет, это не Юрьев-Польский, где почти полвека длится съемочный день «Золотого теленка»; это кем-то специально продуманный и организованный хаос.

«Лицо твое так песочно, что разлетается еще до того,/ Как я успеваю его запомнить», — говорит Гала Узрютова.

Как многочисленны дела Твои, Господи!

Все соделал Ты премудро...

Псалом 103:24

Хаос сопровождаем порядком. Сам Калининград — город отдельного измерения. Его красота и уродство, резко отличаясь от красот и уродств какого-либо иного российского или европейского города такого же размера, наугад взятого (а это не совсем банальное свойство), друг другу в чем-то определенно родственны (что еще более нетривиально). Кажется, природа, то есть, сила очарования Кенига — или, напротив, отпугивания — одна и та же; ее струи фонтанируют из местной почвы.

Виллы новых русских в Раушене спроектированы по неизвестному мне прежде канону — это канон «двойного наследования»: так, по мнению хозяев и архитекторов, должен был бы выглядеть сегодня восточно-прусский модерн, не сделай время полувековой паузы. Дома эти не стяжали ни тяжеловатой простоты прежних построек, ни ироничной легкости, с которой после падения Берлинской стены застраивают берега озер в Бранденбурге, но они странно красивы. Рядом расположились покосившийся киоск под вывеской «Бавария» и облезлые ворота лесопилки «Баухольц» — и, ужасая, притягивают.

На рубеже двадцатого века среди литосферных плит стабильных государственных образований, между которыми протекала обычная регулярная диффузия, появляются черные дыры. Сквозь тонкий слой благопристойности пробивается хаос. Одно лишь создание Второго Рейха уже обещало тектонические сдвиги России, Пруссии, Австро-Венгрии и было чревато, по определению Надежды Петраускене, «разрывом диффузных швов». На тектонических весах Польша, разделенная или нет, всегда значила очень много. Коль скоро должна была произойти бифуркация — спонтанное изменение свойств и траекторий системы, — то бифуркационное множество (этакий Гвардейск), где система могла бы осуществить внезапный переход в принципиально новое состояние, нашлось в срочном и естественном порядке: там, где, по выражению Иоганнеса Бобровского, «все настоящие немцы имеют польскую фамилию, а настоящие поляки — немецкую».

Было бы авантюрой приплести сюда математическую теорию катастроф — тем более, что параметры, от которых в действительности зависит такая система, по большому счету,

неизвестны, — но поэтически соблазнительно называть эту ситуацию катастрофой. Плавный процесс, неожиданно приводящий к взрывному результату, удобно изображать в виде лежащего на столе листа бумаги, который приподнимают с одной стороны, взяв его, скажем, обеими руками поближе к уголкам, а затем начинают изгибать посередине, сводя руки вместе: одна рука идет вверх, а другая — вниз. На листе, очевидно, образуется некая складка (fold), заканчивающаяся надломом, особенностью, точкой возврата: наглядная иллюстрация элементарной катастрофы типа «сборка» (cusp). Когда лист — вместо того, чтобы гнуться — мнется, в бумажную структуру вторгается хаос; хаос в конечном счете стимулирует появление полезного зубца или шипа — им можно, например, почесывать голову или вычищать пыль из щелей ноутбука.

При желании смятый лист стоит читать и перечитывать; немало интересного скрывают его изгибы — но это другая история. Хотя пара Кенигсберг/Калининград, со всеми своими особенностями и темпоральными петлями, не уникальна (Константинополь/Стамбул, Иерусалим/Иерусалим), но так захватывающе наблюдать, как близость хаоса — над которым, как утверждал Эйнштейн, властвует гений, — позволяет «гению места» совершить очередной прорыв; воображать, как горячий пар, выбрасываемый гейзерами Исландии, согревает дома Рейкьявика.

Где же еще ей падать на землю,

Как ни с балтийского неба на песчаную Куршскую косу.

Борис Бартфельд

Участвуя в семинаре, посвященном текстам, чьи авторы были связаны с Кенигсбергом — от Симона Даха до Томаса Манна, — я оказался в Калининградской области. Привел меня туда именно Бобровский, и с Бобровского начались мои блуждания от Риги до Берлина через Мазуры и Вармию. Именно в Бранденбурге, кружа вокруг ночного озера Гросс Глиникер, я решил, что начальные строчки его «Равнины» — „See./ Der See” — стоит перевести как «О./ Озеро». Как раз оттуда я — костельной мышью с запасом крупы в багажнике — пробирался к Цюрихзее, чтобы привести в порядок собственные ментальные расчеты.

На этих дорогах я все чаще — и всё больше от поляков — слышал о «забывании». И читал. Милош в «Здзеховском»: «Ирисы зацвели. Снова. / Когда зацветут еще раз, кончится мое

время./ Прозрачный туман укрыл с утра океан.// Отперев двери, ведущие в сад,/ Занимаюсь забыванием». Станислав Винценц в «Диалогах с Советами»: «Чтобы увериться в том, что мир является состоянием изначальным, нужно такое сито, какому учит поэта Чистилище: Лета и Эвноя, забвение и память, два рукава одного и того же очистительного потока. По отдельности ни с одной из рек каши не сваришь, только если обе возьмешь в оборот».

Улицы любого мало-мальски приличного польского городка гордились — спасибо Пилсудскому! — именами героев двух антироссийских восстаний. В одном из них, помнится, шел масштабный ремонт центрального «рондо», и подвыпивший прохожий сказал мне: «...этот *chujew Kościuszko* целиком перекопан, ты должен проехать всего *jebanego Traugutta*...». Тадеуш Костюшко и Ромуальд Траугутт: оба — профессиональные военные, прекрасные инженеры. Судя по всему, люди поразительного благородства; в определенный момент оба возглавили практически безнадежную борьбу — их главные войны были проиграны до начала сражений.

Проклятие Костюшко — любовь и бедность; отцы Людвики и Текли отвергли притязания неродовитого вояки (на руку — сердца были завоеваны). Проклятие Траугутта — смерть. Он теряет подряд: младшую дочь, первую жену Анну, первого сына (брата-близнеца умершей дочери) и второго сына (от второй жены, Антонины из рода Костюшко, внучатой племянницы Анджея Тадеуша Бонавентуры)... Теснее всего, лицом к лицу в прямом смысле, он сошелся со смертью на виселице в Варшавской цитадели.

Не лежат ли в основе их «срывов» личные катастрофы? Любовные неудачи и внутреннее одиночество одного, смерть жены, детей и опять-таки внутреннее одиночество другого? Или вторая жена исподволь сыграла роль эстафетной палочки? (Траугутт долго колебался, прежде чем вступить в восстание. Кстати, существует понятие «бифуркационной памяти» — задержки потери устойчивости: система медлит с переходом в новое состояние, «как бы вспоминая погибшую орбиту».) А может, таким образом подсознание устроило для них обоих персональное забывание, равно как и память вечную?

It's never too late

to have a happy childhood.

Milton Erickson

В молодости трава была зеленее. И снег был белее, особенно в детстве. И дворники тщательнее соскребали его с тротуаров. И вообще, он был, этот снег. Я не помню ни дворников, ни шарканья их лопат, потому что в детстве по ночам спал. Я шел в школу, когда дворники уже заканчивали свою работу. Но я знаю. В моей голове лежат не события и даже не воспоминания о событиях, а коды воспоминаний. Механизм памяти — процессор, компилятор, — раскручивая эти коды, позволяет мне мысленно видеть то, чего больше нет, и даже то, чего я, возможно, не видел наяву.

Специалисты так описывают работу процессора с кодом.

Феномен лабильности памяти с ее последующей реконсолидацией можно интерпретировать как перезапись. Мы извлекаем воспоминание, как считывают файл с жесткого диска. Когда мы возвращаем его обратно, предыдущая версия стирается, и мы записываем в память уже измененный файл. Хотя это совершенно неверное описание того, что происходит в нервной системе...

Может быть, так оно и есть, но мне в это не верится. Одно дело запретить доступ программы к коду, другое — стереть сам код. Он где-то дублируется: пользуясь терминологией Google, можно сказать, что и на облаках. Когда мы стареем, трава желтеет, а снег чернеет. Сознание все чаще расписывается в своем бессилии, в неумении работать с действительностью, с «наблюдаемыми» жизненными параметрами, но все упорнее и безнадежнее — будто на холостом ходу — шифрует и дешифрует коды.

В особых случаях память не просто реконсолидируется, но творится заново, на живую нитку. Человек, прошедший ад (через маргинальные социальные условия), зачастую реконструирует свое прошлое по образцам, принимаемые им за достойные. Он не просто переписывает, но и создает новые воспоминания, отнюдь не всегда сдвигая центр тяжести в сторону негатива. Я не имею в виду осознанный контроль над памятью — память, отрабатывая ситуацию, в которой всё «не как у людей», перестраивает ее «как у людей». По-видимому, полужертва-полупалач имеет шансы стать либо палачом, либо таки жертвой.

Не всегда можно верить даже свежезаписанным мемуарам бывших узников гетто и лагерей (повторю — в действительности все могло быть гораздо хуже).

«— Чего же тут непонятного? Знать — это одно, а помнить — совершенно иное. То, что я знаю — я знаю. И знаю я действительно все. А вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал — это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия, нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете, когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете про Дорогу жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой дороге. Ну и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком!

— Ладно, ладно, не горячитесь, — сказал я. — Понял. Только опять вы всё перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили» (А. и Б. Стругацкие).

Кошки отлично помнят события, ярко окрашенные маркерами боли, страха или удовольствия. При этом мозг кошки хранит только определенное количество информации, которая требуется ей для безопасной и комфортной жизни. Она не запоминает целые дни, как мы, а лишь то, что пригодится в будущем.

Думается мне: народная память — она что кошачья. Вот только речь не о безопасности или комфорте.

Rund ist die Welt; die Sonne kehrt jeden Tag zurück.

Rund ist das Rad am Wagen, und runder noch das Glück!

Gottfried Keller

Чтобы не потеряться в мире (вселенной), где мы постоянно вынуждены терять память — об утраченных близких, об ушедшей любви, о черном космосе по-за голубеющим в солнечный полдень небосводом, — мы должны научиться забывать. Однако, чтобы не потерять себя, мы должны уметь вспоминать.

Если бывают гении мест, то рядом необходимо присутствует память места. И если место, в лице *genius loci* или же обитателей своих, желает уцелеть, оно овладевает искусством останавливать и вновь запускать память. Калининградская область, пережившая испытание разрывом времени, благосклонно передает нам в пользование модель стирания памяти с ее последующим, пускай частичным пока, воскрешением.

Допустим: память — средство ориентации в пространстве времени (не в пространстве-времени). Она должна обладать

очень мощной инерцией; ей показаны периодические регламентные работы; наконец, «рабочая» память ориентируется на что-то вроде неподвижных звезд и, в отличие от намагниченной стрелки, не слишком зависит от локальных структур. И вот какая вещь лезет в голову: гироскомпас — — —

Хотя современные гироскопы — ядерные, лазерные, криогенные, электростатические — базируются на десятках различных принципов, под гироскопом в общем смысле понимается однородное симметричное тело, быстро вращающееся вокруг оси симметрии, и подвешенное так, что ось его вращения, называемая главной осью (далее просто «осью»), может свободно изменять свое положение.

Три основных свойства гироскопа: 1) устойчивость оси (ось свободного гироскопа «следит за звездой», удерживая заданное в инерциальном пространстве направление); 2) устойчивость к удару (при краткосрочном воздействии положение оси изменяется незначительно); 3) прецессия («эффект волчка»: способность оси под воздействием внешней силы поворачиваться в сторону, перпендикулярную направлению действия самой силы). С моей точки зрения, это похоже на основные свойства памяти — так похоже, что нет нужды называть их заново.

Напомню также, что плоскость истинного меридиана наблюдателя проходит через его глаз и земные полюса: наблюдатель и его меридиан привязаны к земле. («Что, если память вне земных условий, — Арс. Тарковский, — бессильна день восстановить в ночи?» — и так далее...) Земля вращается вокруг собственной оси и вокруг солнца, поэтому плоскости меридиана, да и горизонта тоже вращаются.

Если главную ось гироскопа расположить на поверхности Земли параллельно земной оси, то, вследствие вращения горизонта и меридиана, она будет отклоняться от заданного направления. Поэтому для превращения гироскопа в указатель курса нужно, чтобы его ось прецессировала. Один из способов удержать гироскоп в меридиане — сместить центр тяжести относительно точки подвеса: воспоминания дистанцируются от событий.

Немного о меридиане.

Согласно представлениям традиционной китайской медицины, это область или канал циркуляции энергии Ци. Также меридианы суть силовые линии полей, исходящих из

внутренних органов (физических и метафизических). А еще знаменитое целановское: «Я что-то нахожу — как и язык — бестелесное, но мирское, земное, закольцованное, возвращающееся, пройдя через оба полюса, в себя и притом — что радуется — кружащееся на больших оборотах — я нахожу... меридиан».

Когда память хранит меридиан, она становится компасом.

И если вдруг, вопреки мнению Винценца о наблюдаемой «изначальности» мира (покоя), мир — подобно какому-нибудь фракталу — недоступен для непосредственного наблюдения, его приходится искать; тогда-то память ведет нас сквозь опаленные войной воды времени.

*Если бы я тогда не сжег лягушачью кожу,
то кое-чего так и не узнал бы.*

Иван — царский сын

Не то, чтобы время позволяло с собой шутить, но подурочиться с его отражениями в зеркалах умов и душ, полагаю, простительно. Француз Эмманюэль Тодд советовал в недавнем интервью немецкой газете „Die Zeit”: «Чтобы понять, что сегодня происходит в Европе, надо из прагматических соображений набраться смелости и обратиться к старым национальным стереотипам». Не побоюсь и я быть вульгарным (решусь заодно предположить, что смелость Тодда могла быть объяснима каплей-другой еврейской крови: в качестве классической жертвы стереотипного мышления еврей располагает полным пакетом индульгенций).

Итак.

Великая Россия = Православие = распластанность перед Богом = горизонталь (плоскость горизонта).

Великая Польша = Католичество = устремленность к Богу = вертикаль.

(Вертикальную плоскость, проходящую через глаз наблюдателя перпендикулярно плоскости меридиана, называют первым вертикалом, так что Польша у нас — первый вертикал.) Практически по Леви-Строссу последняя пара образует первую триаду: между ее членами легко вставить медиатор — меридиан. В духе его же медиативных рассуждений получим историческую Швейцарию — «вставшую с колен гористую местность» — в качестве медиатора второй степени.

Пусть и забавное, соображение это почти ничего не дает. Но стоит подумать о времени объемно — как об атмосфере, ауре, полезном ископаемом, — туман (по Леви-Строссу, посредник между небом и землей) понемногу рассеивается. На больших территориях пространство-время организовано условно линейно: оно состоит из параллельных слоев, лежащих друг на друге, века слабо связаны между собой — им нет нужды. Предки далеки, обычаи дики либо абстрактны, я занят преодолением огромных расстояний «и не жаль мне прошлого ничуть» — то есть, жаль, но оно также ничего мне не даст, прошлое. Достойные внимания интервалы между субъектами бытия — пространственноподобны.

Когда площадь или ареал обитания скукоживается, а плотность населения возрастает, разные временные срезы начинают тяготеть друг к другу; слои словно встают на дыбы. Если российское пространство-время напоминает слоеный пирог, то раздробленная Польша походила, образно говоря, на улей. Направляясь, подобно Преголе, с востока на запад, путешественник из Москвы в Кенигсберг, еще не переходя границ Сарматии, уже пересекал бифуркационную кривую. В зависимости от предыстории — как полагается в теории катастроф — он мог испытать пространственно-временной шок. Кроме атмосферного столба ему на плечи ложилась темпоральная кладка, вязь времен; «преданья старины далекой» становились чем-то бóльшим, интервалы делались времениподобными.

Теперь Швейцария.

Ее время тесно притерто к жизни, оно едва ли не конкретней любого другого европейского времени — ощущение не формализуемо, но более чем вещественно. Любимое занятие айдгеноссе, — шутят сами швейцарцы, — сидеть в подвале и слушать, как хрустят его деньги (как тикает его время?). Запутанность субъектно-хозяйственных отношений, густая паутина тайн обильно сдабривает непрозрачные, свернутые клубком, как макароны «ласточкино гнездо», нити времени. Его много, как много самой Швейцарии: она подобна детским картонным книжкам-раскладушкам — с возникающими буквально из ничего, с чистого плоского листа замками и каретами с Золушками; многоуровневая поверхность занимает гораздо больше места, чем ей отводят глобус и карты.

Швейцарец — гражданин деревни, города, общины, кантона, страны; ячеистая структура пространства-времени, служащая медиатором между польским улем и российским пирогом, не то разделяя, не то суммируя их, так или иначе намечает точку

мифического (Леви-Стросс!), запредельного соприкосновения. Снеговую границу. Лету. Эвную.

Es gibt kein Mittel zwischen mir und anderen

Ich bin unmittelbar: in der Begegnung

Jakob Levy Moreno

Жизнь построена на обмене: даже там, где нет товарно-денежных отношений, мы всё равно чем-то обмениваемся. В основе социальных моделей лежат механизмы обмена как средства достижения целей, то есть, средства исполнения мотивированных желаний. Что касается самих мотивов и желаний, моделировать их куда труднее, поскольку чаще всего мы имеем дело с замещением самих желаний и вызванных ими действий. Может быть, мотив (неведомый нам) вообще один, только является в масках: то либидо, то страха смерти, то влечения к золотому тельцу...

Сорвав маску, не сойдемся ли мы — лицом к лицу — со временем?

Со швейцарским, чрезвычайно плотно и осмысленно организованным пространством-временем встречаются неуправляемые пространственно-временные структуры. Самой последней деревне, затерянной в снегах Энгадина, было гарантировано право на дорогу, школу, медицинскую помощь (и полный ассортимент продуктов в магазине): стандарт, имевший — простейшей — целью выживание. Каждое польское восстание было попыткой пробить стену (раздела), границу между вертикальными слоями. Всякий «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — был прецедентом обрушения (крыши) одного слоя пространства-времени на другой.

В организации польского и российского пространства-времени обнаруживается больше сходства, нежели различий. Можно ли предположить, что и поляки, и русские всегда знали друг о друге нечто постыдное? Тайна «славянского» способа организации пресловутого пространства-времени — в его суицидальной ориентации? Самоубийственный тренд как демаркационная линия?

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоанна, 12:24). И рыба — о! — идущая на нерест, чтобы умереть в верховьях реки, — дает образец, соотносимый

представителем каждой конфессии с собственной жизнью. Человек, вероятно, тоже ищет место для «плодотворной смерти». Озерная Швейцария как метафора бессмертного нереста?

А в юности я, бывало, испытывал гордость с оттенком легкого превосходства — на пару с Александром Блоком, в восемнадцатом году, в январе, написавшим своих остерегающих «Скифов», — за ту трагическую и непостижимую правду, что мы якобы несли остальной части земного шара.

*О старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!*

Вместе с юношеским максимализмом куда-то делась и сама юность. И вот я, уже почитай на трех ногах, стою перед Эдипом, который, невзирая на все свои комплексы, абсолютно не считает нужным разгадывать мои загадки, и чувствую себя не сфинксом, а, скорее, Годзиллой в финале клипа „Come with Me”, кавер-версии знаменитого „Kashmir” группы Led Zeppelin — грустным, обманутым чудовищем, которое зачем-то повелось на призывы Puff Daddy: „Hear my cries,/ Hear my call...”

*Январское восстание –
это величайшее произведение польского романтизма.*
Язеп Добкевич

Возможно, экономический взлет Польши в последние десятилетия — особенно по сравнению с соседями — отчасти обусловлен фактом отбрасывания своей «невинности», оперативным избавлением от комплекса жертвы. Позитивизм «белых» или же кровавый романтизм «красных» в период между ноябрьским и январским восстаниями — без разницы: едва ты выбрал сторону и пошел на пеленг, ты утрачиваешь статус жертвы.

Смоленская история могла в свою очередь показаться кому-то приличным шансом на откат польского общества к облику жертвы — удобному и безответственному, объясняющему все эвентуальные неудачи наличием палача. Тенденция к фиксации русских и немцев в роли «плохих ребят» (Анджей

Новак) не чужда полякам, как не чужда русским традиция самоуничтожения. Когда после Смоленска поляки позволили российской стороне вести себя более чем странно (эксперты, доступ к останкам и прочие, тотчас обретающие большое значение «мелочи»), казалось — дело за малым...

А дело по-прежнему за малым. Безусловно, штука хитрая, этот взаимозачет волков и овец; при всем том — в целях укрепления национального мифа, видимо — Швейцария охотно играет роль крестьянина. (А пропос ошибка в мифологии: Швейцария — производственная страна, хотя воздух в ней и чище, как утверждают местные поляки, «чем на Губалувке».)

Загадка о сельском Сиддхартхе знакома, наверное, всем.

Крестьянину нужно перевезти через реку волка, козу и капусту. Лодка невелика: в ней может поместиться крестьянин, а с ним или только коза, или только волк, или только капуста. Но если оставить волка с козой, то волк съест козу, а если оставить козу с капустой, то она съест капусту.

(Ясно, что начинать приходится с козы. Крестьянин перевозит козу, возвращается и берет волка, которого везет на другой берег, где его и оставляет, зато возвращает обратно козу, а к волку отвозит капусту. Вернувшись затем в третий раз, он забирает козу.)

Применим к этой загадке модный метод расстановок. Вот заместители начинают «движения». Как только заместитель крестьянина отходит в сторону, коза начинает нервничать и щипать капусту, тем самым провоцируя волка. (Предполагается, что волк, в принципе, спокоен — иначе он давно убежал бы в свой лес.) Значит, коза является одновременно и жертвой, и палачом: ее нужно изолировать от волка и капусты, которых можно перевозить в любой последовательности. Скажу, что капуста могла бы при определенных обстоятельствах изображать евреев, но в целом капуста и волк как будто ни при чем.

Коза — это судьба; чтобы разрядить атмосферу, замечу, что Россия — не волк. Волк, очевидно, Пруссия, а Россия — собака, которой вообще не должно быть в загадке. Касательно отношения пруссаков к хищникам, Бисмарк сформулировал его предельно ясно еще в 1861-м: «Я полон сочувствия к полякам, но если мы хотим существовать, нам не остается ничего другого, как их искоренить; волк не виноват в том, что

Господь создал его таким, каков он есть, но мы всё же стараемся его застрелить, когда можем».

Что добавить к этой картинке? Сочное яблоко на голове мальчика из СН — как точку опоры весов, на которых взвешивают PL и RU?

Продолжение в №9/2015 «Новой Польши»

ИМПЕРИЯ: ПУТЬ РОССИИ К ЕВРОПЕ ИЛИ ОТ НЕЕ

Сокращенная запись дискуссии, состоявшейся 16 мая 2014 г. на факультете общественных наук Университета им. Адама Мицкевича в Познани^[1].

Дорота Евдокимов (Университет им. Адама Мицкевича)

Профессор Кантор^[2] пишет: «Несмотря на распад СССР, Россия остается все же империей. Поэтому понимание этого феномена необходимо. У нас пишут сегодня о принципе “имперской модернизации”, полагая его специфически российским, но любая европейская страна опиралась на этот принцип, мы и сейчас можем говорить, повторяя слова Г.П. Федотова, о Европейском союзе как форме “федеративной империи”. Но, во всяком случае, вне империи невозможно нормальное развитие этого огромного организма — России. [...] Как писал один из умнейших эмигрантов лет за тридцать до перестройки, “мечтать в наши дни о восстановлении в России свободы либерально-консервативного строя — это значит желать оживления ее имперского духа — точнее, это значит стремиться к воскрешению самой России, ибо она и есть высшее и единственное достижение нашего имперского творчества. Она получила свое наименование от Петра Великого для отличия от Руси и построена совсем не русскими, а россиянами”^[3]. Далее Кантор выдвигает тезис о том, что империя — это единственный путь России к Европе, и противопоставляет этому идею национализма^[4]. Я хотела бы сформулировать следующий вопрос: действительно ли идея империи представляет собой российский путь в Европу или она ведет, скорее, в противоположном направлении?

Ежи Фечко (Университет им. Адама Мицкевича):

Российский империализм, российское представление о существовании в виде империи трудно отделить от определенного типа национализма. Кантор, кажется, полагает, что всякий обширный территориально либо сильный экономически организм, хочет он того, или нет, является сущностью с имперским характером. В отрывке из эссе, прочитанном вами, Кантор, похоже, говорит примерно следующее: «Всегда и везде были империи, так что Россия как

империя — вовсе не особый случай. Напротив, она воплощает явление, составляющее стержень европейской истории». Если придерживаться такого способа мышления, который предлагает здесь Кантор, то следовало бы сразу сказать, что есть разные империи, и их, в общем, можно разделить на две модели. Так называемые самоограничивающиеся, не стремящиеся, особенно насильственным путем, навязать свое господство всем вокруг, а в пиковой фазе даже всему миру. И империи агрессивные, захватнические, нередко стремящиеся к уничтожению целых сообществ, безразличные к человеческой жизни, к судьбе отдельных людей, к правам человека и, в связи с этим, враждебные идее либеральной демократии, либо сильно искажающие эту идею. Для меня эти вторые сущности, агрессивные и захватнические, являются организмами классически имперскими. Большой и сильный не обязательно означает имперский.

Кантор прав, когда говорит, что империя — это явление столь же политическое, сколь культурное. Поставлю такой вопрос: какое место занимает представление об империи в русской культуре, особенно в литературе?

После Второй мировой войны Западная Европа старалась критически переосмыслить последствия имперской политики и самой имперской идеи; было признано, что имперская идея несет часть ответственности за обе мировые войны. Какие-то выводы из этого Европа извлекла и благодаря этому выбрала сотрудничество вместо стратегии конфликта, разрешаемого силовым, военным методом.

(...)

В строительстве российской империи этнические украинцы, к примеру, уже упоминавшийся Гоголь и многие, многие другие, принимали огромное участие. Не только этнические русские строили российскую империю. Потому данное имперское предложение в этом отношении более открыто. Оно принимает других, конечно, при условии, что они воспримут саму идею империи. В то же время остается открытым вопрос, может ли Россия существовать в иной, нежели империя, форме? (...) Волна национализма охватила уже не только жителей Галиции или киевскую интеллигенцию, но разливается намного шире. (...) В то же время некоторые украинцы утверждают, что сегодня подлинным наследником Речи Посполитой является именно Украина. (...)

Бартош Гордецкий (Университет им. Адама Мицкевича):

В связи с вышесказанным можно также спросить, могла бы Россия создать такую империю, которая каким-то образом была на руку и Западу? Попробую на него ответить. (...) Вячеслав Костиков, публицист «Аргументов и фактов», некоторое время тому назад написал, что влияние России, в сущности, остается сильным там, где на сегодняшний день не снесены памятники Ленину. Такой осязаемый признак. Там, где стоят памятники Ленину, влияние сильно, и там имеет смысл вмешиваться. А там, где памятники Ленину падают, ситуация неоднозначна. С другой стороны, Герберт говорит примерно так: «Европа простирается настолько далеко, насколько простираются соборы». Кончатся соборы, начинается, в нашем случае, Россия. То есть, мы имеем дело с признаками в физическом, культурном пространстве, и эти признаки могут подсказать империи, постольку, поскольку это вообще империя, в каком направлении и в каких аспектах нужно или возможно развиваться.

Есть множество таких мест, где памятники Ленину сброшены. Карта «ленинопада» более или менее совпадает с тем, что мы наблюдаем сегодня, если говорить о вмешательстве и поддержке России. Они падали там, где русских не поддерживали. Например, очень интересен такой Фастов. Там тоже снесли памятник Ленину. А почему там его снесли? Может быть, в какой-то степени и потому, что Фастов — это местность, которой права города даровал польский король Сигизмунд III Ваза, и там веками были католики, и доныне там существует католический приход? (...)

Богуслав Жилко (Гданьский университет):

(...) Более 80% россиян поддерживают Путина и считают, что власть должна быть сосредоточена в одних руках. Православие находится под государственной защитой. Культурная программа, разработанная для всей России, не ограничивается лишь историей, она основана на противопоставлении: здоровая Русь — гнилой, испорченный Запад. Конфронтация Востока и Запада рассматривается как борьба ценностей, и, парадоксально, Россия защищает эти хорошие ценности, а Запад представляет антиценности. Сегодня воскресают архаичные, еще допетровские концепции. При этом, если бы от меня требовались какие-либо прогнозы, Россия стоит сейчас перед выбором: либо стать нормальной парламентарной республикой по западному образцу, либо воспроизводить пародию на Советский Союз. Сейчас мне любопытно, в какую сторону это покатится.

(...)

**Славомир Мазурек (Институт философии и социологии
Польской академии наук)**

Маловероятно, чтобы Россия когда-нибудь стала просто частью Запада, а ее вхождение в Евросоюз технически невыполнимо, разве что после ослабления и вассализации России, от чего она будет обороняться любыми способами. Поэтому в случае России «путь в Европу» может означать единственно путь к дружественному сосуществованию с Западом в политической и культурной плоскостях. Однако достижение состояния дружественного сосуществования затруднено из-за специфических культурных взаимоотношений между Западом и Россией. Россия — как заметил Арнольд Тойнби — является по отношению к Западу сестринской цивилизацией, что означает, что она «другая», но не «совсем другая», что она остается с Западом в коммуникативном, но не идентификационном сообществе. Это, я бы сказал, исключительно опасные взаимоотношения: коварные, так как «инаковость» второй стороны не выглядит в этом случае очевидной (как, например, в случае Запада и Китая) и может ставиться под вопрос, что выражается в возобновляемых в каждом столетии попытках завоевания — или же «обращения» — России. Все осложняется еще и тем, что в России не распространилось осознание того, что Советский Союз был не российским государством, а формой оккупации российского государства коммунистическим движением. Многие россияне до сих пор идентифицируют себя с оккупантом, что глубоко воздействует на российскую идентичность. Россия, чтобы достичь состояния «дружественного сосуществования», должна реконструировать свою идентичность, модернизироваться и демократизироваться, и в то же время сохранить свои позиции державы. Все это колоссальные вызовы. Не думаю, что имперская идея (идеология?) могла бы помочь с ними справиться, даже если сохранение позиций державы означает на практике сохранение остатков прежней империи. Скорее, она отвлекала бы внимание от реальных проблем. Само слово империя как термин, не включенный в язык современной политики, возбудило бы огромное недоверие на Западе. Не говоря уже о том, что для создания империи, федерации или содружества наций нужно быть притягательным, а притягательны победители. Так что история о распаде Советского Союза как «крупнейшей геополитической катастрофе столетия» — это история о поражении, но история о преодолении тоталитаризма великой исторической нацией была бы историей о победе. Итак, имперская идея не открывает России пути в Европу — то есть пути к дружественному сосуществованию с Западом — но если

бы Россия прошла этот путь, кто знает, не стала ли бы она притягательной.

Лилианна Кейзик (Зеленогурский университет)

А я не вижу ничего плохого в имперской идее. Ведь вся история, в том числе и Польши, свидетельствует о том, что империи не уничтожали индивидуальностей своих составляющих, наоборот, они заботились об их культуре, языке, самостоятельности в некоторых областях. Может быть, в соответствии с идеей всеединства? Хотя это сложно. Польша в XVI веке была империей многих народов и не уничтожила их. Однако поляки не хотели стать частью теократического государства в представлении Соловьева, они хотели иметь собственное государство, что тоже понятно. Намного хуже националистическая идея, так как она может выродиться в фашизм! А фашизм угрожает отдельности, индивидуальности, собственному лицу. Некоторые аспекты того, что имело и имеет место на Украине, ведут к опасности возрождения национализма. Может быть, мое мнение не понравится участникам дискуссии, но я считаю президента Путина человеком исключительно умным, который понимает эти нюансы взаимоотношений на самой Украине. И Украина вовсе ни для чего ему не нужна! У России есть всё, и она может обойтись без Украины. Другое дело Крым, который исторически не был украинским. Его принадлежность к Украине была чем-то искусственным. Были ли методы возвращения Крыма демократическими? Это спорный вопрос, но демократия не лучший, а худший строй! Это говорил еще Аристотель, просто мы не знаем классиков философии. А Путин читает русских философов. Много берет у них. Думаю, что он не хочет войны.

(Выступление от 11 мая 2014 г.)

Мариан Брода (Лодзинский университет)

Со времен Петра I русские, пытаясь определить свою идентичность, смысл существования в сообществе и будущее, почти автоматически определяют однозначным образом свое отношение к Европе: оцениваемой позитивно либо негативно, рассматриваемой как образец либо отрицательный пример, указатель желанного будущего либо реликт прошлого. Они подчеркивают собственное своеобразие и исключительность либо показывают критерии и границы взаимного сходства с Европой, разоблачая либо релятивизируя — иногда проницательно и точно, а иногда односторонне и механически — западные представления на эту тему. (...)

Петр Мицнер (Университет кардинала Стефана Вышинского)

РОССИИ

(...)

пишу

неправду

о войне и мире

о добре и зле

о начале и конце

о жизни и смерти

пишу

неправду

но другого пути

к правде

не знаю

и знаю что Никто

до конца не

(...)

а Иванушка говорит:

я нашел неразорвавшийся

снаряд твой

ты должно быть его потеряла

твой снаряд

я нашел в себе

-
1. Полная запись дискуссии будет опубликована в журнале «Człowiek i Społeczeństwo» 2015.
 2. Владимир Кантор (р. 1945) — русский писатель,

литературовед, доктор философских наук, профессор философского факультета Высшей школы экономики в Москве. Прим. пер.

3. Г. Мейер. Поруганное чудо // Вопросы философии 2006, № 10, с. 101.
4. В. Кантор. Империя как путь России к европеизации, // *Człowiek i Społeczeństwo* 2013, т. XXXV/2, с. 352.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КУХАЖЕВСКОГО В РОССИЮ

Неожиданно, но факт: в Москве впервые начала издаваться семитомная монография «От белого до красного царизма».

Сейчас, когда вышел из печати первый 400-страничный том, удивленные вопросы выстроились один за другим. Как это? Почему десятилетия под запретом, а теперь — нате вам? Кто рискнул издать этого русофоба? И зачем сыпать соль на раны, когда российско-польские отношения переживают трудный период?

В биографических справках о Яне Кухажевском (1876–1952) писали не только как о польском государственном и политическом деятеле, историке, юристе и даже премьер-министре Королевства Польского в течение 93 дней в 1917–1918 годах, но и как о человеке, который, эмигрировав в 1940 году в США, «в послевоенные годы неоднократно публиковал статьи, критикующие Советский Союз и коммунизм». Этого было достаточно, чтобы во времена ПНР и СССР его многосторонняя работа находилась под спудом — само ее название казалось неприемлемым.

А ведь монография Кухажевского в семи томах, увидевшая свет в 20-е и 30-е годы XX века, считается одним из наиболее масштабных трудов польской и зарубежной историографии, посвященных государственному и общественному развитию России. Несмотря на то, что книга была издана еще в межвоенный период, ее основные положения и выводы сохранили свою актуальность и значимость. Автор привлек обширный массив источников, в том числе архивных, большинство из которых русскоязычные. Вот отрывок из предисловия к первому тому, которое написал известный российский историк, член-корреспондент РАН Борис Флоря. По его оценке, «в случае с книгой Яна Кухажевского «От белого до красного царизма» мы имеем дело с сочинением очень неординарным, и особенно неординарным для того времени, в которое оно было создано — эпохи между двумя мировыми войнами. Перед нами большое, семитомное историческое полотно, посвященное историческим судьбам России. Автор поставил своей целью объяснить, почему огромные потрясения, которые происходили в начале XX века, не привели

к установлению в России демократии и гражданского общества. Перед нами сочинение очень интеллигентного, культурного человека, причем человека русской культуры, выпускника юридического факультета Варшавского университета (в ту пору, когда преподавание там велось на русском языке), обладавшего самыми широкими, разнообразными знаниями о России, относившегося с огромной симпатией к русскому народу и его тяжелым историческим судьбам... Очень важно познакомить русского читателя с полной версией труда Кухажевского в семи томах, а не с сокращенной до одного тома вариацией, обращенной после Второй мировой войны к читателю американскому. Именно полный текст сочинения польского историка позволяет нам наиболее адекватно приблизиться к событиям, которые происходили, ко всем реальным сложностям описываемых процессов, к личностям, которые участвовали в этой исторической драме и изображены автором столь неповторимо».

Может быть и этим вызван интерес к появлению солидной монографии в полном объеме на русском языке. Это стало заметно уже на первой презентации, которая вызвала полемику и острые дискуссии. Тем более, что невольно многие ключевые проблемы, затронутые Кухажевским, так или иначе были восприняты через призму не только современной историографии, но и нынешних далеких от нормальности российско-польских отношений. Место презентации, в которой приняли участие известные специалисты по российской истории, преподаватели, аспиранты и журналисты, было не случайным: исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Ответственным редактором тома, озаглавленного «Николаевская эпоха», является заведующий Кафедрой истории южных и западных славян этого факультета, д.и.н. профессор Геннадий Матвеев, а автором перевода и комментариев — доцент той же кафедры, к.и.н. Юрий Борисёнок.

Один зарубежный историк, которому Геннадий Матвеев сообщил о начале издания монографии Кухажевского на русском языке, отреагировал так: «Как вы публикуете этого русофоба?» Но профессор Матвеев не видит в этом ничего необычного, в том числе и политической конъюнктуры, наоборот: «Есть вещи, которые прожиты и пережиты русскими и поляками вместе. Политики приходят и уходят, а остаются народы, которые хотят познавать друг друга. Я не отношу Кухажевского к русофобам. Считаю, что это человек, который хотел понять нашу тогдашнюю жизнь и даже где-то сострадал.

Есть русофобство, и есть нелицеприятная критика. Когда мы сами себя критикуем — это в порядке вещей, а вот когда нас критикуют со стороны — это уже не по нраву. Мол, не надо совать нос в наши внутренние дела. Так уж мы психологически устроены. Впрочем, не только мы. Между прочим, вся последующая советология многие критические аргументы заимствовала у Кухажевского».

Заведующий кафедрой истории России Николай Борисов заметил, что чтение написанного иностранцами о России всегда воспринимает как «свежий взгляд, который заставляет думать и размышлять». Как преподаватель он рекомендует своим студентам такие публикации: «Истории и историков не надо бояться. Личность историка — очень важна для сохранения науки как фактора жизни». Юрий Борисёнок обратил внимание на автора как на человека русской культуры, а на его монографию — как на вклад в российскую историографию, восстанавливающий кое в чем хронологию и историческую справедливость сложного периода российской истории.

Принявшие участие в обсуждении отметили профессионально подготовленный аппарат издания: расширяющие рамки публикации сноски, ассоциативно напомнившее серию «жзл» послесловие о «сочинителе» и содержательные комментарии. Вполне резонно было замечено, что российское издание выгодно отличается от польского хотя бы тем, что многочисленные цитаты из русскоязычных источников полностью соответствуют оригиналам.

«Когда я впервые прочитал книгу Яна Кухажевского, у меня создалось впечатление, что эта работа уже в момент своего создания, в 20–30-е годы, была прямо обращена не только к польскому, но и к русскому читателю, — обращаемся еще раз к предисловию Бориса Флори. — И сегодня мне кажется, что именно в России и именно сейчас этот труд может быть прочитан наиболее адекватно».

Кухажевский Я. *От белого до красного царизма. Т.1. Николаевская эпоха.* — М.: 2015. — 400 с.

Издание подготовлено при финансовой поддержке Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».

Валерий Мастеров — многолетний собственный корреспондент газеты «Московские новости» в Варшаве, сейчас — пресс-секретарь Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия». Статья написана для «Новой Польши».

О ДУХЕ БЕЗЗАКОНИЯ

Довоенное, семитомное издание труда Яна Кухажевского «От белого царизма к красному» во времена ПНР было мечтой библиофила, но еще более влекло молодежь, которая жаждала, посредством исторических аналогий, постичь феномен СССР. Значительно позже из рук в руки передавали сокращенное однотомное лондонское издание семидесятых годов и его самиздатские перепечатки. В 1974 году в парижской «Культуре» (№ 12) был опубликован присланный из Польши очерк молодого интеллектуала Казимежа Опалинского о Яне Кухажевском и его монументальном труде. Мы публикуем начало и окончание этого очерка.

Если у меня спросят, кого из польских мыслителей XX века я ставлю выше других, к кому обращаюсь в размышлениях о современности и будущем, кого порекомендовал бы польской молодежи, силящейся вырваться из-под пресса лжи и пропаганды, что хотел бы представить западным интеллектуалам как альтернативу их наивности и растерянности, то я сразу же назову это имя — Ян Кухажевский. И его труд — «От белого царизма к красному». Это несравненный пример свободного и открытого разума, осознающего свои обязанности по отношению к себе и другим.

XX век, и не только у нас, — это период, не располагающий к глубокой аналитике и широким интерпретациям. Погоня за оригинальностью любой ценой идет в паре с поразительной стереотипностью мышления. Недостаточная приверженность правде сопрягается с недостатком заинтересованности в правде. Запуганную мысль, даже если она и честна, легко втиснуть в специализированные коморки, наклеить на нее выхолащивающие ярлыки. Мысль не-фундаментальная и не-гражданская стремится подменить глубину усложненностью; сочувственную ответственность — пропагандой. Вот главные причины того, что столь захватывающий, но в силу независимости и благородства интонации столь не сегодняшний труд Кухажевского по-прежнему недооценен: там всё слишком просто, слишком очевидно.

Главный труд Кухажевского представляет собой историософское и социологическое исследование русской государственности и духовности. Однако Россия — не единственная проблемная область, и даже не главная. В том и

состоит превосходство Яна Кухажевского над Марианом Здзеховским. Последний, автор «Русских влияний на польскую душу», был по некоторым позициям (например, в анализе максимализма, польского полубольшевизма) автором, наиболее близким Кухажевскому, однако слишком очарованным Россией, ее духовной элитой. Отсюда трагикомические ошибки Здзеховского: в первые годы революции он видел в большевизме некое чуждое русскому духу порождение, а в Ленине — марионетку, управляемую силами, враждебными русской государственности. Кухажеский избежал тенденциозности — как позитивной, так и негативной. Он анализировал российский феномен на основе глубокого понимания социально-политических механизмов и укорененной в европейском гуманизме концепции правовых норм и моральных ценностей. Конкретный исторический анализ царизма переплетается с органически объединенными с ними общими рассуждениями на тему механизмов общественного развития в их связи с духовным миром индивидуума. Такое сопряжение конкретики и теории, истории и философии, размышлений о правовых институтах и букве закона, о личности и обществе задает огромный масштаб труду Кухажевского.

Ян Кухажевский с гордостью ощущал себя наследником Монтеスキе и Мохнацкого, а поэтому обращался к занимающим его вопросам с сознанием собственной духовной суверенности, без комплексов, без ослепления. Это исключительная позиция для поляка в наш век. Ранее, даже во времена разделов, глядели смелее и увереннее; несмотря на политическое порабощение, очевидностью была принадлежность к независимой польской культуре, а посредством того — раскрепощающая сопричастность европейскому наследию. Мохнацкий с несравненной свободой и глубиной взгляда размышлял о московских властях и западных иллюзиях. Его последователи также стремились глубоко постичь политические механизмы восточной империи. Все чаще, однако, терялось чувство собственной субъектности — точка опоры, обеспечивающая точность анализа. Происходило ослепление; рождалась ненависть — отблеск полусознательной утраты веры в собственный разум, потаенного приятия собственной неполноценности. Эта смесь влюбленности и ненависти со временем становилась всесильной, складываясь во все новые схемы, все новые табу и сферы умолчания. К России обращали взор только те, кто был Россией увлечен.

Другие же отворачивались от трудной темы, прячась за ширмой «европейскости». Это было, однако же, не чувство

соучастия в европейской политико-правовой традиции, не фундаментальная рефлексия над западной моделью бытия-в-мире, над отношениями индивида и социума, а пассивный перенос литературных или научных новинок, то есть вновь проявление незрелости и комплекса неполноценности. Подойти к российской тематике без комплексов, исследовать восточную модель государственности и сформированную там карту личности гражданина с европейской точки зрения, без предубеждений и пренебрежения проследить исторический процесс в его константах и изменчивости — это задача из задач, которую не решить на польской лишь почве.

[...]

Сегодня дух беззакония приобретает более острые формы, чем в описываемом Кухажевским XIX веке. Сегодня не только обитателям «родины мирового пролетариата» многие стороны жизни в царской России показались бы идиллией. И мы с таким вниманием должны интересоваться русским вопросом, историей и культурой этой страны именно потому, что она представляет собой огромную лабораторию деспотизма. Кухажевский отстранился от активной политической деятельности, поскольку считал, что исследовать русскую революцию важнее: патология царизма сказалась на зарождении системы, в которой патологические элементы усилились. Как поступать, чтобы патологические механизмы не укреплялись и не расширялись? Как уберечься от того, чтобы новоявленные структуры, расплодившись, не породили еще больших бесчинств, чем существующие? Я не знаю более важных сегодня вопросов. Обозначенные Кухажевским проблемы должны быть близки сердцам просвещенных россиян. Если русские жаждут свободы, если опасаются пробуждения слепых инстинктов, то должны вернуться к основополагающим вопросам. Великие это понимают: в рассказе «Пасхальный крестный ход» Солженицын устами простой старушки вопрошает, что будет, когда воспитанные в духе беззакония новые поколения «советских людей» растопчут и тех, кто окажется у них на пути, и тех, кто их в этом духе воспитал. «Раковый корпус» — это поиск мер противодействия: писатель с ненавистью осуждает все кругом, клеймит механизмы, которые отбирают у людей любовь, надежду, веру, — и обращается к внутренней сути человека, к последним вопросам: о смысле жизни и смерти. Там находится точка опоры независимой мысли. Этого довольно, чтобы личность была способна к внутреннему сопротивлению. Но человек еще и существо социальное: переход от индивидуальной свободы к общественной свободе показан в

«Архипелаге ГУЛАГ», — там отыскивается точка опоры для общественной мысли. Это по необходимости рефлексия «негативная», анализ духа беззакония. Аналогичный труд по отношению к более узкому кругу российской элиты предприняла в двух томах «Воспоминаний» Надежда Мандельштам. Когда Солженицын призывает жить не по лжи, видя в этом первичный общественный императив, он близок в этом Кухажевскому, который в атрофии правды усматривал главную духовную и политическую опасность.

Сегодня в польской мысли столь широкая и столь независимая точка зрения выражается еще реже, чем при жизни Кухажевского. Его исследование своим содержанием и формой направляет наше внимание к фундаментальным проблемам: к обоснованию политической субъектности и связям с европейской культурой. Поэтому сводить его труд лишь к русскому вопросу, к менее или более жестким инвективам в адрес восточной державы будет еще одним доказательством внутреннего отречения поляков от духовной субъектности, еще одним проявлением прогрессирующей балканизации или ориентализма нашей интеллектуальной жизни. Кухажевский поставил основополагающие вопросы, и мы должны продолжить его рефлексю. Рассуждения о духе беззакония — это в то же время раздумья над ролью права в государстве, о механизмах, которые гарантируют индивидууму творческое участие в жизни сообщества, о традиции, которая, проливая свет на минувшие события, позволяет нам получить знания о будущем, свободном от фатальной несвободы.

*

Статья Казимежа Опалинского не вызвала полемики, однако рассердила Чеслава Милоша, который в письме Ежи Гедройцу (от 22 февраля 1975 года) писал: «Читать о России у Кухажевского — это значит полностью исказить для себя перспективу. А искажение у него состоит в том, что вся динамика преобразований на Западе понимается наивно — сплошные паиньки, а вот Россия по контрасту получается ужасно, что, впрочем, извечный прием польского национализма». Еще раз Милош затронул эту тему в письме от 9 декабря 1975 года: «Огорчила меня (снова) статья <в «Культуре»>. [...] Можно ли призывать к союзу с хорошими русскими и печатать панегирики Кухажевскому? Тезис, что царский строй оставил на русских вечный след, — фальшивый, равно как и второй, что ужасные большевики благолепную Россию умучили. [...] Полемизировать с Опалинским трудно, потому что они ухватились в Польше за того Кухажевского,

который их устраивает, но он опасен, потому что это лживая, при видимости правды, перспектива».

Прим. ред.

ЭТО БЫЛ ЧЕЛОВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

С переводчиком, автором послесловия и комментариев семитомной монографии Яна Кухажевского «От белого до красного царизма» историком Юрием Борисёнком беседует Валерий Мастеров.

— С чего началось ваше знакомство с трудами Яна Кухажевского?

— С трудами Яна Кухажевского я впервые познакомился еще в университете, когда студентом готовил свою дипломную работу, посвященную отношениям русского мыслителя и революционера Михаила Бакунина с польскими общественными деятелями. В тот период монография «От белого до красного царизма» находилась у нас на специальном хранении, а взгляд на самого Кухажевского в советской историографии был довольно однобокий. Семь томов его огромного труда у нас толком никто не читал, зато довлела репутация Кухажевского как автора критикующих Советский Союз статей и русофоба. Даже польские исследователи, например, Виктория Сливовская, в целях конспирации уходили от самого по себе опального названия и ссылались на отдельные тома, которые носили вполне нейтральный титул — хотя бы как первый том «Николаевская эпоха». Когда я уже писал диссертацию и затем книгу «Михаил Бакунин и «польская интрига»: 1840-е годы», мне удалось прочитать все семь томов Кухажевского. Это были 90-е годы, когда спецхраны были открыты для специалистов, да и взгляды мои на сочинения Кухажевского несколько изменились.

— Как это происходило?

— Вот смотрите. Если брать только то, что он написал, допустим, о Бакунине, то есть принять это за узкую точку зрения, то можно сказать: автор местами серьезно заблуждается и политически ангажирован, описывая одного из самых выдающихся революционеров в истории. Но все историческое полотно Кухажевского поражает своей масштабностью. Юрист по образованию смог, что называется, создать различные картины истории России. Он оценивает ее со многих точек зрения, хотя часто и очень увлекается. Здесь важно обратить внимание на два фактора. Прежде всего, глубокое знание автором русской культуры, русской

литературы и, в известной степени, российской историографии. И это при том, что уже в 20-е годы он не мог рассчитывать на тот поток издаваемых в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах Российской империи книг, который в царское время без каких-либо препятствий попадал в Варшаву. Этот поток пересох, и ему трудно было реагировать на те книжные новинки, которые в изобилии появлялись уже на советском книжном рынке. Второй момент, который действительно вызывает большое уважение, — это широта его взглядов. Кухажевский российскую историю и русскую культуру глубоко прочувствовал. Он же окончил русскую гимназию в Ломже, затем — юридический факультет Императорского Варшавского университета. В гимназии и университете обучение шло на русском языке, который вместе с русской литературой вошли в его сознание. Но его познания обширны и в польской словесности, в чем читатель может убедиться при чтении монографии.

— В книге про Михаила Бакунина вы обращаете внимание на обстоятельность подхода Кухажевского к образу русского революционера, а в послесловии к первому тому монографии приводите ряд сравнений, которые как раз и говорят о литературных познаниях автора...

— Да-да... Вы знаете, мне думается, что польские читатели семитомника Кухажевского — как в межвоенный период, так и в наши дни — немало удивлены присутствием персонажей из русской литературы, которых для убедительности, а может и большей достоверности, «привлекает» автор. В одном из примечаний я интерпретирую упоминания Скалозуба и Хлестакова как доказательство того, что отчаянный критик российской власти Кухажевский одновременно был человеком русской культуры. Польским читателям его работ в межвоенный период ближе был Маяковский, стихи которого печатались в переводе, но не Грибоедов с Гоголем. Или вот, действительно, сравнения Михаила Бакунина с Рудиным Тургенева и с Бельтовым из «Кто виноват?» Герцена, а также Обломовым Гончарова, Ленским из пушкинского «Евгения Онегина», Маниловым из «Мертвых душ» и даже помещиком Тентетниковым из второго тома того же сочинения Гоголя. И это при том, что второй том был уничтожен писателем и сохранилось лишь несколько глав в черновиках. Как вам такое? А между прочим, Кухажевский и русскому читателю в этом смысле поблажки не дает, когда вынуждает его вникать в символику драмы на античный сюжет польского классика Зыгмунта Красиньского «Иридион» и разбираться в сравнениях Бакунина с Иридионом, а Сергея Нечаева — с

Масиниссой как символом зла. Поэтому в данном случае вполне можно говорить, что эта монография создавалась на стыке двух культур, а ее автор в этом плане — уникален.

— Очевидно, совершенно не случайно первые рецензенты перевода Кухажевского замечают, что русское издание выгодно отличается от польского хотя бы потому, что многочисленные цитаты из русских источников приводятся в оригинале?

— Наверное, так можно считать еще и потому, что перевод на польский у Кухажевского не всегда соответствовал оригиналу. Но я бы не ставил это в упрек. Автор, при всем к нему уважении, наверняка даже цели себе не ставил следовать скрупулезной точности перевода — работа огромная, да и он, в конце концов, юрист, а не филолог. К тому же переводов большинства произведений, например, Герцена или Салтыкова-Щедрина, тогда в Польше не было и переводить приходилось самому. И в это тоже Кухажевский внес свой вклад. Потому что сейчас, возмись кто-то из польских авторов за подобное, он бы не стал заморачиваться собственными переводами, а обратился бы к уже существующим. Кухажевский же переводил в подавляющем большинстве случаев сам.

— Что было самым трудным при переводе?

— Пожалуй, два момента: адаптация к авторскому стилю и поиск достоверных цитат. Вот пример. Кухажевский, будучи хорошим знатоком Пушкина, умудрился, скорее всего по памяти, две цитаты из разных писем поэта своей жене Наталье Николаевне соединить в одну. И нужно было эту цитату, что называется, разобрать по косточкам и реально ее воспроизвести, потому что Пушкин так не выражался. Похожие трудности встречались, но их было не так уж и много, потому что автор не всегда цитировал по памяти. К счастью, не всегда. Если бы было иначе, нам не удалось бы, в конце концов, что-то найти и пришлось бы заниматься самым неприятным — двойным переводом. Правда, помимо сносок непосредственно на страницах публикуемого текста, пришлось добавить уже в конце первого тома 111 отдельных примечаний под римскими цифрами. Без них обойтись было нельзя, потому что мог получиться... антиКухажевский. Есть некоторые точки зрения спорные, некоторые — дискуссионные, а кое-что, — когда автора в его пафосе заносило настолько, что он допускал фактические ошибки — нужно было просто уточнить. Мы продолжим работу с примечаниями, но чтобы не мешать читать книгу, разместим их в конце каждого тома.

— *С какого издания вы осуществляли перевод?*

— Как известно, семь томов Кухажевского впервые увидели свет в Варшаве в 1923–1935 годах. Я же переводил с первого послевоенного переиздания под редакцией Анджея Шварца и Павла Вечоркевича, осуществленного в 1998–2000 годах издательством «PWN». Было видно, что редакторам удалось устранить хаотичность предыдущего издания: исправить многочисленные опечатки, привести в порядок сноски и поправить авторские переводы непольских текстов.

— *Повлиял ли Ян Кухажевский на современную международную историографию?*

— В полной мере. Даже если ограничиться последними десятилетиями, то уже можно представить его вклад в кочующие на Западе концепции истории Российской империи и Советской России. Редактировавшие польское издание профессора Анджей Шварц и Павел Вечоркевич как раз указывали на «многочисленные отзвуки труда Кухажевского в современной международной исторической литературе». В качестве примера чаще всего приводят книгу «Россия при старом режиме» и другие работы родившегося в Польше американского ученого Ричарда Пайпса, хотя сам известный советолог старается Кухажевского не упоминать, пользуясь тем, что на английском языке вышла лишь краткая однотомная версия солидной монографии. Взгляды, точки зрения, подходы Кухажевского перенимали люди, которых не назовешь выходцами из русской культуры. Именно от Кухажевского остались его зубодробительные выражения — «варварство», «дикость», «рабство», «тирания», «отсталость» и много чего еще, хотя кому теперь придет в голову, что большинство из них были позаимствованы у российских либералов и радикалов. Все эти «крепкие словечки» с годами звучат менее резко, адаптируются и переносятся в другую плоскость, где уже выглядят совершенно иначе. Тем самым, несколько затушевывается реальный вклад Яна Кухажевского в дело исследования России и ее истории. Между прочим, в нынешней польской историографии есть несколько книг имеющих знаковые названия. Например, появившаяся в 2000 году книга известного краковского историка Хенрика Глембоцкого, которая называется «Фатальное дело». Это название одной из глав работы Кухажевского. Известный историк из Вроцлава Антоний Каминьский название второго тома своего труда о Бакунине, увидевшего свет в 2013 году, тоже позаимствовал у Кухажевского — «Поджигатель Европы», как называется глава V в четвертом томе его монографии. То есть

формулировки Кухажевского вошли в ткань повседневной практики современных польских историков где-то на рефлексорном уровне.

— Насколько сейчас актуален ярлык «русофоба» в применении к Кухажевскому?

— Известна устойчивость такой ассоциации. Знаю, что и в современной Польше даже серьезные исследователи называют этого автора «русофобом», напоминают к чему приводит «пронизывающая страницы его произведения антирусскость». Но я бы не стал критическую, но часто и необъективную риторику Кухажевского по отношению к царизму, русским революционерам и «большевичесеству» сводить к знаменателю «антирусскости» или более того — «русофобии». Я отношусь к нему как к пристрастному автору весьма любопытного свойства, которое попытался расшифровать в послесловии. На мой взгляд, Кухажевский меньше всего хотел стать таким классиком руссиеведения или советологии. Он просто хотел по-своему выразить свое отношение к тому государству, которое на его глазах в период Первой мировой войны ушло из политической практики. Сейчас русофобы, которые переродились в таковых из либералов, еще похлеще будут. Мне кажется, что ярлык «русофоб» на Кухажевском отдаляет нас от правды. Прежде всего — это человек русской культуры.

— Можно ли говорить о полном издании Кухажевского на русском языке и как оно будет осуществляться?

— Думается, что решение издать семитомник Кухажевского целиком — правильное, потому что любой сокращенный вариант утратил бы многое, а главное — концепцию автора. Но надо знать, что неутомимый критик царей и большевиков написал десять томов своей знаменитой монографии, но мы все время говорим об опубликованных семи. И видим, что изложение событий по сути заканчивается на эпохе Александра III, 80-ми годами XIX века, то есть «красный царизм», выражаясь языком Кухажевского, показан фрагментарно, в примечаниях и дан, что называется, как фон. В основном речь идет о царизме времен Российской империи. Известно, что были еще оставшиеся в рукописи три заключительных тома, в которых фигурировал Ленин и исследовалось происхождение большевизма. Рукописи этих трех томов пропали во время Второй мировой войны. Почему они не были опубликованы раньше? Может быть потому, что польскому издательству к концу 30-х годов был уже не интересен автор, который по сути своей был вскормлен русской культурой, который боролся, так сказать, с недостатками русской истории, которые сам же и

выявлял. Утраченные рукописи вряд ли отыщутся, поэтому у нас будут семь томов. К началу следующего года можно ожидать появления второго тома на русском языке «Генезис максимализма. Два мира».

— *Какие вопросы на презентациях первого тома монографии Яна Кухажевского в вашем переводе запомнились вам больше других?*

— Прежде всего спрашивали — и это, пожалуй, главный вопрос — почему эта книга выходит только теперь? Мне кажется, что именно сейчас, на фоне тех совершенно непростых российско-польских отношений она может быть понята гораздо глубже, чем, например, в начале 90-х годов, когда на нас посыпались издания, условно говоря, антисоветские, когда-то запрещенные, хранившиеся в спецхранах. В том ряду Кухажевский мог оказаться незамеченным, как затерялся, допустим, первый президент Чехословацкой Республики Томаш Гарриг Масарик, интереснейшую работу которого «Россия и Европа» переводили в несколько приемов и в 90-е и в нулевые, как теперь говорят, годы. Сочинение Кухажевского — равновеликое Масарику, а то, что оно будет выходить последовательно, том за томом, только будет поддерживать интерес к нему.

Юрий Борисёнок (р. 1966) — в 1987 г. с отличием окончил Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1991-ом — аспирантуру того же факультета. Кандидат исторических наук, с 2005 года — доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ. Специалист по истории Польши, России и восточного славянства XIX–XX вв. Автор монографий «Михаил Бакунин и "польская интрига": 1840-е гг.» (2001), «История российского спорта» совместно с Д.О. Тугариным и В.А. Фетисовым (2005), «На крутых поворотах белорусской истории» (2013) и более 100 научных публикаций. Перевел с польского языка монографию С. Мацкевича «Политика Бека» (2010). С 1991 г. работал в Российском историческом журнале «Родина»: в 2007–2014 гг. — главный редактор, параллельно — ответственный редактор тематических выпусков журнала, в том числе номера «Россия и Польша» (1994). В настоящее время — научный редактор «Российской газеты».

ВАРШАВСКИЙ ПАРК ЛАЗЕНКИ — ЗАБЫТАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ РОМАНОВЫХ

Королевский парк Лазенки — дворцово-парковый комплекс, основанный в XVIII в., одно из важнейших туристических мест Варшавы, — известен прежде всего как излюбленная летняя резиденция Станислава Августа Понятовского, несчастного последнего короля Польши (1764–1795), который, несмотря на усиленные старания, не смог спасти страну от падения, но оставил после себя великолепную память о своем меценатстве, в том числе и этот очаровательный варшавский парк со знаменитым Дворцом на воде и другими ценными памятниками архитектуры. Немногие, однако, помнят сегодня о том, что на протяжении почти столетия Лазенки были частной резиденцией российских императоров.

Характер Лазенковского парка как места уединения был определен самим Станиславом Августом, который именно здесь отдыхал от политических забот. Именно Лазенки он избрал местом своего последнего упокоения. С этой целью он планировал постройку специальной могильной часовни, однако планы были перечеркнуты разделами Польши и отречением Понятовского от престола. После его смерти в 1798 г. Лазенки перешли в руки его племянника, князя Юзефа Понятовского (впоследствии героя битвы под Лейпцигом и маршала армии Наполеона), а также племянницы Марии Тересы Тышкевич. Брат и сестра, обремененные уплатой больших долгов своего дяди, мало занимались парком и находящимися в нем объектами. В самом начале XIX века они принимали здесь Людовика XVIII, брата казненного короля Франции, который, будучи эмигрантом, путешествовал тогда по Европе (в Париж в качестве короля он вернулся много лет спустя, после падения Наполеона) и некоторое время жил в Белом домике, маленьком павильоне, находящемся неподалеку от Дворца на острове.

Годами находясь в запустении из-за нехватки необходимых средств, Лазенки получили шанс возродиться и засиять новым блеском лишь в 1817 г., когда семья Понятовских решила продать парк (а точнее отдать его в счет выплаты части долгов)

российскому императору Александру I, который с 1815 г. был также конституционным королем Польши. Этот доброжелательно настроенный по отношению к полякам монарх, особенно почитаемый за «возрождение» Царства Польского (вместо наполеоновского Варшавского герцогства) не особо, впрочем, нуждался в летней резиденции на берегу Вислы. Хотя в период своего польского правления в 1815–1825 гг. он бывал в Варшаве почти каждый год, однако проводил здесь едва ли несколько недель, каждый раз весьма занятых и не позволяющих как следует отдохнуть. Его варшавской резиденцией был Королевский замок, лучше всего приспособленный для официальных функций. Покупка Лазенок была все же знаковым событием, служащим доказательством того, что Александр считает себя продолжателем прежних монархов, правящих до разделов Польши. Несмотря на то что император-король редко появлялся в парке, здесь проходили разнообразные публичные празднества и приемы, в том числе в честь членов императорской семьи, находящихся временно в Варшаве, как в случае императрицы-вдовы Марии Федоровны (матери Александра), которую в 1818 г. приветствовали торжественным обедом и балом во Дворце на воде.

На историю Лазенок в 1817–1830 гг. в значительной мере повлияло то, что в расположенном на его окраине Бельведерском дворце поселился брат Александра, великий князь Константин, предводитель армии Царства Польского. Дворец был выкуплен у семьи бывшего конюшего Станислава Августа — Онуфрия Кицкого, который получил его от последнего короля Польши в счет значительной денежной выплаты. В 1818–1821 гг. по поручению Константина Павловича было проведено обновление и осуществлена перестройка дворца по проекту Якуба Кубицкого (который осуществлял архитектурно-строительный надзор над всеми королевскими зданиями), и дворец был приспособлен к нуждам нового жильца. Это сравнительно небольшое здание отвечало ожиданиям великого князя, который проводил здесь время со своей польской женой и кругом ближайших соратников. Богатых приемов и придворной жизни он не любил (почему и оставил Петербург без сожаления), поэтому Бельведер служил ему исключительно для работы и отдыха. Для удобства великого князя в Лазенковском парке выделили достаточно большую часть, предоставив ее в личное распоряжение Константина Павловича. В 20-е годы Кубицкий спроектировал на территории Бельведерского парка два сохранившихся до сих пор павильона — классицистический Храм Сивиллы и отсылающий к архитектуре фараонов Египетский храм.

Поблизости находились казармы как польских, так и русских (входящих в состав Литовского корпуса) отрядов, а рядом с Дворцом на воде, в здании бывшего флигеля, поместили Школу подхорунжих пехоты. Таким образом, великий князь мог регулярно посещать казармы, проводя свои знаменитые проверки и муштруя солдат, благодаря чему нажил себе немало врагов. В 1830 г. именно Лазенковские подхорунжие подняли Ноябрьское восстание, бунтуя против нарушения конституции и видя в императоре Николае (преемнике Александра) и великом князе Константине тиранов, заслуживающих смерть (подобных революционных выступлений в 1815–1830 гг. было, впрочем, во всей Европе немало, а непосредственным толчком для варшавского бунта стала Июльская революция во Франции и антинидерландская революция в Бельгии).

Период с 1817 по 1830 г. известен в истории Лазенок многими новыми предприятиями. В 1819 г. в северной части был создан Ботанический сад, переданный Варшавскому университету (основанному в 1816 г. Александром I), который выстроил здесь внушительное здание астрономической обсерватории по проекту Илария Шпилевского. Перед Дворцом на воде, который служил главным образом местом торжественных приемов (ни царь, ни его гости в нем не жили), установили сохранившиеся до сих пор статуи, персонифицирующие Вислу и Буг, главные реки Королевства. Автором этих скульптур был Людвик Кауффман, работающий в Варшаве ученик известного итальянского мастера Антонио Кановы. В 1825–1826 гг. на востоке от дворца был воздвигнут комплекс новых административных построек, в части которых находится ныне Музей охоты и верховой езды. В этот период театр «На острове», как и театр в Оранжерее давали регулярные представления для варшавской публики. В мае 1829 г. здесь, рядом с парком, состоялось открытое празднество для жителей Варшавы по случаю коронации Николая как короля Польши.

К серьезным изменениям в истории Лазенок привело Ноябрьское восстание 1830–1831 гг. и утрата после его подавления независимости Королевства, ставшего лишь автономией в составе Российской Империи. В 1832 г. произошло повторное объединение Лазенок и Бельведера (хотя ограда, отделявшая парки друг от друга просуществовала еще сто с лишним лет) вследствие того, что великий князь Константин и его жена (умершие в 1831 г.) были бездетными, а их поместье перешло по наследству к Николаю I. С тех пор Лазенки и Бельведер стали главной императорской резиденцией в Варшаве, поскольку в Замке поселился наместник. Невзирая на то, что члены императорской семьи редко находились в

Варшаве, Лазенки и Бельведер всегда были готовы к их приезду. Во флигеле, прежнем размещении Школы подхорунжих, находились квартиры для служащих двора (лакеев, камердинеров, горничных и т. д.), большая часть которых была польского происхождения. В 1843 г. Адам Идзиковский представил вдохновленный английской архитектурой проект большого неоготического дворца для императора, который планировалось построить в Лазенках, на том месте, где сейчас находится памятник Фредерику Шопену (установленный там после 1918 г.). Однако неизвестно, не была ли это частная инициатива польского архитектора, хлопчущего о выгодном императорском заказе. В 1846 г. у Дворца на воде была построена классицистическая церковь по проекту Константина Андреевича Тона (ответственного, кстати, за строительство Храма Христа Спасителя в Москве) и реализованному на месте поляком Анджеем Голонским. Она служила Романовым, их гостям, а также тем немногочисленным служащим двора, которые были православными. Одновременно с этим шел капитальный ремонт обоих Лазенковских театров. В 1849 г. в Бельведерском дворце умер в окружении ближайших родственников великий князь Михаил Павлович, брат Александра, Константина и Николая, который заболел во время своего пребывания в Варшаве, куда приехал провести проверку размещавшихся здесь гвардейских и гренадерских полков. В 1857 г. новый император, Александр II, планировал значительное расширение Бельведера, в котором могли бы жить почетные императорские гости (к примеру, те, кто проезжал через Варшаву по дороге в Петербург) вместе с многочисленной свитой. Адольф Лоэв, польский архитектор еврейского происхождения, подготовил даже специальный проект, который, однако, так и не был осуществлен, поскольку эти планы в значительной мере зависели от политической ситуации и отношения императора к полякам. Сначала тот склонялся к либерализации отношений в Царстве Польском, проявлением чего стало назначение в качестве наместника в 1862 г. его брата Константина, что было большой наградой. Великий князь жил в то время в Бельведере, где явился на свет его младший сын Вячеслав.

В результате Январского восстания, которое вспыхнуло в 1863 году в ответ на либеральные шаги Петербурга (воспринятые как признак слабости), Александр изменил свои взгляды, постепенно лишив Царство Польское статуса автономии, что повлияло и на положение Лазенок как императорской резиденции. Визиты правителя с российской точки зрения были бы честью для поляков, а этого Александр хотел избежать, стремясь проявлять строгость в отношении непослушных

подданных. Однако во дворцах на территории парка всё так же время от времени останавливались заграничные монархи (главным образом немецкие), проезжающие через Варшаву по дороге в Петербург. После 1864 г. Лазенки были подчинены Министерству императорского двора, попав с тех пор наравне со всеми другими резиденциями в распоряжение императора. Ввиду нежелания Николая посещать Варшаву, были приостановлены новые архитектурные инвестиции, наиболее ценные произведения искусства (прежде всего картины) стали вывозиться в Петербург, а все внимание было сосредоточено исключительно на консервации уже существующих дворцов, павильонов и скульптур и на поддержании общего порядка в парке. В 1869 г. только было построено новое здание Оранжереи, хотя потребность в нем возникла совершенно случайно. Здание предназначалось для апельсиновых деревьев, которые были куплены у князей Радзивиллов из Неборова и которые изначально планировалось перевезти в Петербург, но из климатических соображений они были оставлены в Варшаве. Не стоит забывать, что, утратив статус императорской резиденции, Лазенковский парк не терял популярности среди жителей Варшавы, оставаясь одним из наиболее посещаемых публичных мест в городе. Он появился, например, на страницах романа Болеслава Пруса «Кукла» (1887–1889), главные герои которого направлялись в Лазенки на прогулки. В 1898 г. Лазенки посетил также краковский драматург Станислав Выспяньский, находя вдохновение для написания драмы «Ноябрьская ночь» (1904), сюжет которой составляют обстоятельства Ноябрьского восстания и события, разыгрывающиеся именно на территории парка. Последний императорский визит состоялся в 1897 г., когда в Варшаву приехал молодой император Николай II, желающий в начале своего правления расположить к себе сердца польских подданных (дав в то время согласие на открытие политехнических институтов и сооружение памятника Адаму Мицкевичу, известному своим крайне отрицательным отношением к российской монархии). Император вместе с женой жил тогда именно в Лазенках. Николаю по вкусу пришлось несколько картин, оставшихся еще от прежней коллекции Станислава Августа, которые было приказано вывезти в Петербург. В том же году Лазенки принимали направляющегося в российскую столицу сиамского короля, в следующем — короля Румынии, а три года спустя — шаха Персии.

Лазенки фактически перестали выполнять функцию императорской резиденции в 1915 г., то есть в тот момент, когда российские власти оставили Варшаву, спасаясь от натиска немецких войск. Так закончилась история варшавской

резиденции Романовых. Фактом остается то, что они посещали ее не слишком часто. С этой точки зрения другие императорские резиденции на территории Королевства, такие, как Скерневице и Спала, пользовались большей популярностью, поскольку их козырем были окрестные леса (места для охоты), а также политически менее спорный характер. Многократные визиты императора или членов его семьи в Варшаву после 1831 г. были обусловлены, однако, всегдашней напряженностью в польско-российских отношениях. Но нельзя забывать, что почти столетняя опека русской династии над Лазенками позволила сохранить в превосходном состоянии оригинальные объекты эпохи Станислава Августа, к которым в возрожденной в XX в. Независимой Польше относились и до сих пор относятся как к бесценным памятникам национальной культуры, между прочим, в значительной мере уцелевшим во время Второй мировой войны (это касается и вывезенных в Петербург и содержавшихся там в очень хороших условиях произведений искусства, которые после Рижского договора в 1921 г. в большинстве своем вернулись в Варшаву). Следует признать, что российский раздел в истории Лазенок завершился вполне удачно.

БОРИСЬ!

О Маше Макаровой я услышала в марте прошлого года, когда после аннексии Крыма она вышла на почти одиночную демонстрацию под посольство России в Варшаве. Несколько месяцев спустя Маша присоединилась к коллективу Русской редакции Польского радио — так мы и познакомились. В настоящее время Маша и ее друзья ждут регистрации Ассоциации «За свободную Россию».

— *Что и когда тебя привело в Польшу?*

— Мое первая встреча с Польшей состоялась в декабре 2004 года. Я приехала сюда на экскурсию с моими знакомыми. Несмотря на то, что я жила в Смоленске, который очень связан с Польшей, где польские следы были практически на каждом шагу, до этого о Польше я практически ничего не знала. Она была для меня далекой и непонятной страной и мои знания о ней ограничивались какими-то историческими фактами. В 2004 году перед Рождеством я попала первый раз в современную Польшу, в маленький город на востоке страны — Седльце. Мне он тогда показался ужасно большим и ужасно красивым. Когда я вернулась в него через полгода на языковой курс в местный университет, я поняла, что это было очень обманчивое впечатление. Но в итоге я потом провела там несколько лет своей жизни, потому что в 2007 году я начала учиться, а затем работать в местном университете, на русской филологии.

— *Ты уже понимала, что останешься в Польше?*

— Момент, когда я поняла, что хочу попробовать здесь жить и учиться — вот ведь странно — вовсе не был польским. Летом 2007 года, когда я приехала на последний языковый курс в Седльце, там много внимания посвящалось еврейской истории и культуре Польши и региона, Подлясья. Я тогда как раз начала учить идиш, у меня был такой еврейский энтузиазм, я хотела открыть в себе хорошего еврея и т. д. Я вдруг поняла, что Польша, которую я за два года уже как-то узнала, и Польша, в которой находились Аушвиц, Треблинка и т. д. — это одна и та же страна. Для меня это было, наверно, самым большим открытием тех лет: то, что еврейская Польша и польская Польша — это одна и та же страна, одна и та же Польша. Тогда я решила, что буду здесь учиться. Я хотела заниматься еврейской историей Польши, но с этим как-то не сложилось. Однако это был импульс, чтобы приехать сюда. Итак, я приехала в 2007 году

в Седльце и там получила степень бакалавра, параллельно экстерном заканчивая русскую филологию в России. Все было тогда ужасно напряженно, потому что я ездила в Смоленск два раза в семестре, на сессии. Писала дипломную работу, ездила в экспедиции на исследования, с этим была связана тема моего диплома. И училась на дневном отделении на полонистике.

— *И каков — в смысле образования — твой статус сейчас?*

— Я магистр русской филологии, полонистка, незаконченный антрополог и аспирантка в Институте славистики Польской академии наук.

— *Но твоя кандидатская ведь не по славистике?*

— Я пишу про русскоязычных евреев из Биробиджана. Это работа по культурной лингвистике и антропологии, на перекрестке этих двух дисциплин. Биробиджанские евреи связаны со славистикой постольку, поскольку они говорят на русском языке, это их ведущий язык.

— *Есть в этом какой-то элемент истории?*

— Нет. Я не историк, совсем. В 2010 году, когда я впервые оказалась в Биробиджане, я собиралась заниматься польской еврейской эмиграцией на Дальний Восток. Евреи, которые были активными коммунистами здесь, в Польше, уезжали в Биробиджан в 30-е годы и строили там коммуну ИКОР. Это был колхоз евреев из-за границы. Там не было ни одного русскоязычного еврея, все они говорили на идише, но их всех расстреляли в 1937–1938 годах. Спаслись буквально единицы. Некоторые успели уехать. Я хотела заниматься этой темой, но потом поняла, что в России архивы до сих пор закрыты, и мне очень тяжело будет найти какие-либо свидетельства. А самих людей, с которыми я могу поговорить, остались единицы по всему миру. И я решила, что нужно успеть записать побольше свидетельств биробиджанцев.

— *А как ты попала в Варшаву?*

— Седльце оказались не таким прекрасным городом, каким я его увидела в 2004 году, вечером перед Рождеством, когда все сияло, были гирлянды, елки, приближался праздник. У меня, конечно, очень много хороших воспоминаний, связанных с этим городом, у меня там хорошие друзья, но я поняла, что я уже достигла какого-то потолка и просто поехала дальше.

— *Ты общалась с поляками?*

— Первые польские знакомые у меня были еще в России. На меня очень сильное влияние оказала моя смоленская научная руководительница. Именно она впервые вывезла нас, своих учеников, в Польшу. Она познакомила нас с молодыми научными активистами из Быдгоща, которые хотели построить сотрудничество между Россией и Польшей на уровне молодых ученых. Это были мои первые друзья-поляки, с которыми я до сих пор поддерживаю контакт. До момента, пока я не переехала в Варшаву, у меня вообще не было русскоязычных друзей в Польше, потому что в моем университете в Седльце я была единственной русскоязычной студенткой на курсе. Я жила с поляками, постоянно с ними общалась и очень быстро избавилась от русского акцента в польском, что было плюсом. Однако у меня появился ужасный польский акцент в русском, который пропал только после переезда в Варшаву. Когда я, уже прожив в Польше около 3-4 лет, встретила в Смоленске моего профессора, Вадима Соломоновича Баевского, и стала рассказывать ему о своей работе про Биробиджан, он сказал: «Боже, Маша, какой у вас польский акцент!» (смех). Просто мой круг общения был очень польским.

— *Существует такое стереотипное мнение, что Польша — русофобская страна. Ты это замечаешь?*

— Польша очень специфическая страна, чтобы здесь жить и говорить, что ты — россиянин, тебе с этим хорошо, ты хочешь здесь жить и имеешь на это полное право. У меня вначале не было этого. У меня, вообще, наверно, большая проблема с идентичностью, потому что я себя чувствую россиянкой, но я себя не чувствую русской. Да и россиянка я в Польше чуть больше года. До этого я все время говорила только по-польски, на русский переходила очень редко. Я даже представлялась не как Маша, а как Марыся. Многие мои знакомые с того времени, когда я только приехала в Польшу, обращаются ко мне Марыся. Сейчас мне это ужасно странно. Я раньше не чувствовала, что ко мне здесь относятся как к русской. Впервые это произошло, наверно, в Варшаве, когда я пришла снимать квартиру, а девушка-хозяйка сказала: «Не переживайте, что здесь так грязно, завтра придет русская и все уберет». Я сказала: «Хорошо, но вообще, когда я буду у вас жить, то могу сломать ваш стереотип о русских, которые все убирают, потому что у меня с порядком проблема». Она тогда поняла, что я тоже русская. И это был первый момент, когда я услышала о русских, как о каких-то стереотипных персонажах. Русофобская ли страна Польша? В Польше наверняка есть русская травма. Я, как русская, которая живет в Польше, это понимаю и принимаю. С

этим можно работать и показывать, что не все русские любят Путина, гордятся Сталиным и считают, что вообще все, что происходило в Советском Союзе, было совершенно правильно и к этому нужно скорее вернуться. С другой стороны, в 2008 году, когда началась война между Россией и Грузией, какие-то антироссийские, антипутинские, антикремлевские атаки я воспринимала как личные. Этот момент, в 2008 году, был для меня переломный. Я хотела возвращаться в Россию, потому что уровень антироссийской агрессии, например, в СМИ, меня как-то перерос. Теперь я как-то уже к этому привыкла. Сейчас, наверно, я воспринимаю Польшу как дом. Я понимаю, что у каждой страны есть своя специфика. Мне кажется, что такая антирусская травма Польши — это для россиян тоже какой-то вызов в позитивном смысле. Тут, кстати, нужно работать и с польской, и с русской стороны. Я знаю, что моих друзей, когда они приезжают сюда сейчас, шокируют те вещи, на которые я уже не обращаю внимания, т.е., например, когда ты разговариваешь по-русски в трамвае, на тебя начинают смотреть. Сейчас я для посторонних точно стала россиянкой, потому что сделала татуировку, и она на кириллице. Я знаю, что когда у меня открыта шея и люди видят, что написано «БОРИСЬ», начинают складывать из букв это слово и понимают, что я каким-то образом связана с Восточной Европой. Хотя, например, я вчера ехала в лифте, и там был парень с татуировкой «Свобода» на шее. Я спросила: «Откуда вы?», а он по-польски ответил: «С Мокотова»^[1] (смех). Это в принципе ничего не значит.

— *Странно, ведь на улице часто слышится русский. Мне кажется, что все давно привыкли. И я не заметила, чтобы кто-то стеснялся.*

— Я старалась не разговаривать по-русски раньше, до того момента, когда почувствовала себя россиянкой. А когда ко мне приезжали русские знакомые, и мне нужно было разговаривать по-русски, мне было нужно себя переломать, чтобы заговорить по-русски. Возможно, это травма 2008 года.

— *Может, ты просто осознала, что антипутинский — это не обязательно антирусский.*

— Да, и об этом надо говорить, это не все понимают. Например, когда я пошла протестовать против аннексии Крыма под посольство, то в газетах это сразу же окрестили как антироссийский протест, а ведь это совсем не так. Россию я люблю, это моя страна. Будущее моей страны мне совершенно не безразлично, и в принципе, я не против, в перспективе

нескольких лет, в Россию приехать и там поработать. Для меня самой было важно понять, что антироссийский и антипутинский, антикремлевский протест – это разные вещи. Мои знакомые, одноклассники, однокурсники, даже мои родители, которые знали о том, что мы выходили и протестовали, все равно говорили, что это против России. В России всегда считали, что власть и государство — неделимы. Путин — это и есть Россия и т. д. А я так не считаю. Я считаю, что Путин — это совершенно не Россия, что Россия — это как раз я, Юлия, с которой мы вместе стояли под посольством, или Борис Немцов, которого убили, или любой другой человек — это Россия. Путин — это совсем не Россия, это представитель государства и человек исполняющий государственные функции. Многие поляки, например, позитивно оценивали этот протест, пока мы стояли под посольством с плакатом «Мне стыдно за Россию», они говорили: «Мы разделяем ваши чувства, понимаем это». Когда мы стояли с плакатом, что мы любим Россию, что Россия — это не Путин, Россия — это мы, мы хотим свободной России, и это для нас важно, то какая-то часть сочувствовавших нам поляков все-таки откололась. Я понимаю, это, наверно, люди с крайне правыми взглядами, которым близко осуждение России, но не близка забота о ее демократическом будущем. Я верю, что Россия все-таки не обречена на тоталитаризм, на авторитарную власть. Нет какого-то особого гена россиян, которые якобы не могут жить по-другому, как при царе или при человеке, который держит страну в ежовых рукавицах.

— Однако, в каком-то смысле, Путин — часть России. Россия разная.

— Он человек Советского Союза. Людей Советского Союза гораздо больше, но это совершенно не приговор. Люди старшего поколения — это также люди Советского Союза. Важно понимать, что в Польше изменения прошли при большой поддержке, потому что коммунизм, не как идея, а как система, был чем-то, что принесли снаружи и навязали. А в России эта система выросла изнутри. Поэтому, когда в 1991 г. распался Советский Союз, этого совершенно нельзя сравнить с тем, что произошло в 1989 г. в Польше. Я теперь понимаю, что это огромная травма для россиян, для поколения моих родителей, для поколения моих братьев, например, для людей 70-х. Потому, что у них за пару дней просто развалилась страна. Я, как ребенок 90-х, конечно, не понимаю этого. Для меня моя страна — это Россия Ельцина, триколор, все новое, прекрасное. Такое счастливое детство.

— А как получилось, что после аннексии Крыма ты решила демонстрировать под посольством России?

— В кульминационный момент нас там было 5–6 человек. Это был такой женский протест, не было ни одного мужчины. Это было спонтанное решение, потому что я никогда не принадлежала ни к каким молодежным группам, партиям и не занималась никакой политической, общественной деятельностью. Для меня переломным моментом было 1 марта, когда Совет Федерации принял закон, позволяющий Владимиру Путину ввести войска в Украину, если это будет нужно. Это была суббота, у меня были совершенно другие планы. Я сидела, дописывала статью про Биробиджан, параллельно смотря прямое включение из Москвы и слушая совершенно советскую риторику, которая там появилась: единогласное голосование, Украина — это земля, политая кровью российских солдат и т. д. Даже в мою картину мира (отрицательное отношение к Путину, знание о внутрироссийских проблемах, нечестных выборах, каруселях и пр.) эта риторика совершенно не укладывалась. Меня с Украиной не связывают никакие сентиментальные переживания. Для меня это была чужая страна, в которой происходит какая-то внутренняя революция. Хорошо, что они делают революцию, если она им нужна. Однако когда то, что происходит внутри нашей страны, то, что нам не нравится, то, что мы считаем плохим, с чем мы пытались бороться и т. д., выливается на соседние страны — это в мою картину мира не укладывается. Это был переломный момент для меня. Я тогда впервые почувствовала себя россиянкой. Во всяком случае — впервые за это время, которое живу в Польше. Я поехала тогда 1 числа вечером под российское посольство, потому что думала, что, наверно, кто-то туда придет, невозможно, чтобы никто не пришел, после такого решения. Там стояли украинцы и белорусы. Не было ни одного русского. Я приехала с плакатом «Нет войне!» и просто не могла слушать то, что они говорили про мою страну. Потому что это был антироссийский протест, я стояла в наушниках с этим своим дурацким плакатом. На следующий день под посольством была украинская демонстрация протеста. Я поняла, что буду там, наверно, единственной русской. Я еще начиталась вечером в фейсбуке комментариев про то, как все ненавидят Россию, русских, какие русские уроды. Понятно, что люди в фейсбуке пишут под влиянием сильных эмоций. Я поехала. Мне казалось важным сказать, что в тот же самый день люди в Москве, Петербурге и других городах выходили на площади. Они выходили не под посольства в Западной Европе или даже в Польше, где, в принципе, ничего за это не грозит, а в России, где понятно, какие могут быть последствия. Нам тут

что? После протеста возвращаешься домой, пьешь чай. Никто этих протестов в России не заметил. Люди вокруг говорили о том, какие плохие русские и Россия. Это был для меня момент, когда я впервые вышла что-то сказать на митинге. А наш частный протест был на следующий день, также совершенно спонтанно. Я просто купила в «Эмпике»^[2] ватман, написала, что я русская и что мне стыдно за Путина, и поехала под посольство одна. По-моему, это был для меня такой род психотерапии, потому что я просто не знала, как с этим жить. Крым был уже почти «наш», и мне нужно было что-то с этим сделать, чтобы просто саму себя оправдать перед моими друзьями украинцами, которые у меня появились в Варшаве. Что именно? Я не знала. Я ведь преподавала русский язык, язык врага, писала про Биробиджан. Потом оказалось, что в Варшаве нашлось пять человек с российскими паспортами, которые готовы выйти под российское посольство и стоять с плакатами, причем из самой Варшавы было три девушки, остальные приехали из Лодзи, чтобы просто постоять под посольством в свой выходной. А россияне, которые живут тут по 30 лет, проходили мимо нас по дороге в Российский культурный центр (как раз было 8 марта) и говорили, что «Крым наш», а то, что мы делаем, — бред. Это не были приятные встречи. Тогда я, в принципе, первый раз увидела в Варшаве соотечественников.

— Но на этом дело не кончилось. Из этой инициативы выросла Ассоциация.

— Потом, когда мы еще выходили осенью под посольство, к нам присоединилась девочка из Варшавы, полька Кася. Оказалось, что есть поляки, которые почему-то переживают за демократическую Россию. И тогда появилась идея, чтобы создать ассоциацию, которая бы объединяла поляков, русских и тех, кто еще захочет присоединиться, которым близка идея, что Россия может быть демократической. Людей, которые готовы что-то для этого делать, каким-то образом способствовать тому, что на самом деле могут сделать только люди, живущие в России.

Наша самая крупная акция была 1 марта. Это должна была быть акция солидарности с Савченко, но смерть Немцова изменила повестку. Туда пришли украинцы с украинскими флагами, белорусы с белорусскими, поляки с польскими, и мы со своими российскими. Это наверно было самое важное и трогательное событие в моей польской жизни. Потому что когда люди, с которыми твоя страна ведет войну, которые твою страну боятся или не любят, или, скажем, живущие в Евросоюзе поляки, которым из-за общей, трудной польско-русской

истории, наверно, не очень-то легко поверить в то, что Россия может быть демократической, когда они все вместе кричат «Россия будет свободной!», — это производит огромное впечатление.

Варшава стала очень важной площадкой для российской оппозиции, потому что это первый находящийся за границей Беларуси большой город, в котором можно делать то, что нельзя в СНГ. Мы можем этим людям помочь, стать площадкой для встреч. А полякам есть чем поделиться. Да просто верой в то, что даже если борьба кажется безнадежной, это еще ничего не значит.

— Вы чувствуете связь с советскими диссидентами? Узнав о вашем протесте под посольством, я вспомнила протест на Красной площади в 1968 г.

— Это, наверно, было так же безнадежно, как сейчас. Конечно, я бы хотела, чтобы все беды России имели корень в Путине — не будет Путина, и все люди станут счастливыми. Понятно, что это совершенно не так. Процесс демократизации России — это процесс десятилетий, и то, что наша страна натворила за последний год, придется еще долго расхлебывать. Долги за Донбасс, Крым, совершенно разрушенные отношения между нашей страной и Украиной — мое поколение их, вероятно, еще не отдаст. В прошлом году, когда все это началось, я думала, хорошо, что Наталья Горбаневская не дожила до этого момента. С одной стороны, эти люди, которые боролись с советской безнадежной системой, могли бы сейчас помочь своим опытом, своей поддержкой и, может, каким-то образом могли бы сплотить эту совершенно раздробленную российскую оппозицию, которая не может объединиться, даже когда объединяется. С другой стороны, они прошли этот ужасно долгий путь с 60-х до 90-х, увидели, как в 90-х в России исполняется то, чего они хотели, что начинает получаться, а потом — раз и опять нужно начинать с нуля. Я не хотела бы, чтобы эти люди пережили такое разочарование, чтобы видели, как их страна нападает на соседнюю и забирает кусок территории. На самом деле, такое ощущение, что мы в России проиграли то, что сделали диссиденты в Советском Союзе, то, что в 90-х удалось сделать чудом, потому что никто в России тогда серьезной революции не делал. У меня сильное ощущение, что мы проиграли. Что мои родители и люди, которые были взрослыми в 1999–2000 годах, поменяли демократию на стабильность, на деньги.

А чувствуем ли мы связь? Да, безусловно. Мое поколениеросло на Солженицыне, Сахарове, которые были совершенно

доступны.

Когда я была подростком, у меня был друг из Петербурга. Человек, который в Питере в 80-х был в оппозиции и который стал одним из первых депутатов питерского городского собрания. Я с ним переписывалась с 15 до 18 лет, ни разу его не видела вживую, но эти люди считали своим долгом общаться с подрастающим поколением 90-х годов, рассказывать нам, чем был Советский Союз. Я училась не в советской школе, я училась уже в свободной России, мы читали про Катень и 17 сентября, я знала, что моя страна напала на Польшу в 1939 г., но несмотря на это, я думаю, что Советский Союз моему поколению кажется чем-то ностальгически прекрасным. Это наше детство, то время, когда все начиналось. Мы, поколение 90-х, воспитывались на советских мультфильмах, советских песнях, опыте наших родителей. Я читала книжки про Зою Космодемьянскую, Гагарина, Тимура и его команду. Они мои детские герои. Все родом из Советского Союза.

-
1. Район Варшавы.
 2. Сеть книжных магазинов.

Ярослав Миколаевский

СТИХОТВОРЕНИЯ

вопрос

я пришел в мир где не было

ни меня ни тебя

но руки уже аплодировали твоим твореньям

твои цветы льнули к твоим ногам

зерна укладывались горстями в моих ладонях

ах до чего мы были не нужны

не я был твореньем

а мои чувства

как же так?

меня не было

но ты уже был создатель

и зачем было это менять

ессе homo^[1]

раны

должно быть в этот бук годами били молнии

(так рука забивает младенца насмерть)

в разгар игры

кукла побольше мать

кукла поменьше дочь

третьей куклы нет

а ведь у той что поменьше уже свой ребенок

той что побольше придется стать своей внучкой

синий солдат хороший
черный солдат плохой
третьего нет
а ведь синему надо помочь
в схватке с черным
и вот черный гибнет в битве с самим собой
он еще лучше чем тот хороший
которому только что он грозил смертью
кто будет волком
когда начнется другая игра?
синий или черный?
а если черный — тот ли кто еще лучше
или тот плохой
в одном и том же лице?
и кого съест волк если та что поменьше
не захочет отдать ту что меньше всех в красные
шапочки?
превратит ребенка в мать
отдаст солдатам на растерзание?
в какой момент наступит конец света?
в каком обличье воскреснут та что побольше
и та что поменьше?
в обличье бабки матери
дочери внучки?
кем воскреснет черный?
кем синий?
кто из них будет волком

кто героем?
кто жертвой черного?
что-то меня огорчило
но я забыл
я огорчен
что-то забыто
что происходит с забытым?
оно червивеет
отслаивается
отпадает?
теряет волосы?
что-то меня огорчило но я забыл
я не в духе
а что-то исцелено?
ярко раскрашено?
что-то срослось
растолстело?
или похудело?
бесповоротно?
что-то выздоровело а я убиваюсь
теряю все
слабею
выгораю?
бедняга ломает голову
а я распускаю нюни
хандрю?

теряю цвет и разум?

то чем я огорчен

тоже тоскует

уж не знаю из-за чего

почему треснул лак

отчего растёт дикое мясо?

рвется грудь лопаются шов

грех сна

когда

по каким кодексам

и вообще

отвечу ли я за сны столь преступные

что хоть запрещай до пяти передавать в новостях

кто предъявляет счёт моей совести

на каком основании

вратари пропускают тысячи снов

а каждый второй не помнит что влетел в ворота

тревога

каждая скорая помощь мчится к моим дочерям

любая вода подступает им к горлу

каждый жандарм ломится в их двери

каждый кабан откапывает бесчисленные тела

каждый злодей подстерегает моего брата

каждый остеопороз дырявит кости мамы

каждая пуля убивает шульца

каждая эмболия отсекает ногу рысеку

чесотка всегда выгрызает шерсть моей суки
любая рука стреляет в голову хемингуэю
меня не подстерегает ничто
эта вещь
хорошо бы не называть ее
впрочем у нее нет имени
кое-кто говорит это та вещь
которая вроде ничего не меняет и все-таки отдаляет
эта вещь
знают все
не суть вещей
не центр вещей
а просто вещь
я не принимаю ее в расчет при игре в вопросы и
ответы
ведь как ответить
если нет
не знаю
можно ли это сделать
есть ли это в комнате
светлые ли у него волосы
видит ли это тебя когда ты его не видишь
не знаю
не знаю
не знаю
сто тысяч раз не знаю
если перевести эту вещь на непальский

получится слово похожее на йети
на других языках она прозвучит слабее
так и будет блуждать в снегах
откуда никто не вернулся
не знаю
не знаю
не знаю
когда просыпаюсь не зная где я
и откуда
куда иду когда лежу
кажется именно ты эта вещь
но не знаю
протягиваю руки
но тут же вижу
все впустую
ведь это мягкое живое
впустую
какое прекрасное слово
не ведет ни к реке
ни к сути вещей
оно не исток
не русло
а прерванный приток
кто знает не поискать ли
эту вещь глубже
в тебе не знаю

1. се человек (лат.).

В ПОИСКАХ «НЕСЛЫХАННОЙ ИДИОМЫ»

Ярослав Миколаевский (р. 1960) — поэт, эссеист, переводчик с итальянского. Дебютировал в 1991 году сборником стихов «Снег свидетель», весьма высоко оцененным критикой, что подтверждает присужденная ему премия «за лучшую стихотворную книгу года». Поэтическая книга «Стаканы разбиты» (2010) — открытие нового этапа. Поэт ушел от уверенности молодых лет, он идет на риск, проникает в миры, которых прежде не знал, хотя их предчувствовал. Вот, к примеру, старый поэт, которому, «будь он дубом/ была бы сегодня тысяча лет», при встрече с молодым поэтом «зашумел листьями/ молодыми как земля» («очень старый поэт»). В этих неизведанных мирах, возможно, обнаружатся вещи, назвать которые невозможно, но их предчувствие есть уже в этом, сегодняшнем мире, как в стихотворении «эта вещь»: «хорошо бы не называть ее/ впрочем у нее нет имени// (...) если перевести эту вещь на непальский/ получится слово похожее на йети».

Использованное в названии книги выражение «стаканы разбиты» — это возглас из детской — важно, что детской, — игры: конец игры, начинаем играть по-другому, начинаем сначала. Однако вызов всегда остается тем же: «уж если писать то чтоб объяснить/ зачем живешь за что молишься» («лапидариум»). На высоте этого вызова, как известно, постоянно быть трудно, но он — неустрашимый императив поэзии. Потому-то в «Молитве об изъяне» и появляется замысел «оговорки»: «пора мне оговориться/ произнести неслыханную идиому». Возможно, именно в этой «оговорке», в открытии нового языка и «неслыханной идиомы», кроется шанс уловить то, что неизменно ускользает от попыток объять его поэтическим словом.

Когда читаешь эти стихи, нельзя не заметить: Миколаевский — ученик школы, определяемой как «лингвистическая поэзия», и в то же время он пытается найти своего рода «праязык», ту «*lingua adamica*», о которой писал Якоб Беме, прибегает к коду «заумной» поэзии, составляющей горизонт поисков Велимира Хлебникова. И когда поэт заявляет: «я молюсь рваным стихом/ принужденным к увечью», — похоже, он верит, что эта

молитва позволит разглядеть те пространства действительности, реальность которых несомненна, но которые всегда остаются закрытыми и недоступными, препятствуют попыткам их назвать. При этих попытках невозможно освободиться от языковых игр, столь же эффектных, сколь обманчивых: «ль аморе или ля морте/ ареопорто или аэропорто» («Area aerea»), — причем не важно, на каком языке происходит игра. Однако выбор итальянского указывает, что этот самый близкий автору «иностраный» язык едва ли не более близок ему, чем польский. За смешением языков поэт наблюдает из «башни двора» («Сумасшедшая»), и это не препятствие для того, чтоб «мы вот-вот/ родились для общего языка», как говорится в стихотворении «Беспошлинная зона»:

в африканских наречиях

много от польской речи

а мой польский

оживает под волшебной палочкой индийского звука

под лучами сибирских

и германских дыханий.

В двух последних строчках стихотворения, сказанных как бы мимоходом, польский читатель найдет, помимо универсальных, исторические ассоциации. Есть они и в более ранних стихах Миколаевского, и нельзя исключить в свете признаний, сделанных им в послесловии, что они прозвучат вновь, пусть иначе, чем прежде. О новых стихах читаем: «Я их еще не знаю, а значит, не знаю, соединят ли они меня с тайной, переведут ли ее в язык, в переживания. Пока у меня под рукой те стихи, что уже прошли некую пробу».

ДЕНЬ И НОЧЬ

«... Слава гражданину Иисусу Христу».

(Из письма польского шахтера во Франции в консульство в Х.)

Оставьте же все меня в покое. Вместе с вашими сумасшествиями и неистовством. Дайте мне преклонить голову, медленно, будто над бегущим ручьем. Он отразит мой зыбкий образ, а с ним и видения из глубин прошлого. Позвольте же мне увидеть его хоть на миг.

Итак, мы не воздвигли «Волгострой». Во всяком случае, не наша в том вина, что по весне вместе с тающим льдом развалился и уплыл бетонный порт. Не мы его строили. Это уж точно. Но зато мы очень уставали. Особенно зимой.

В уборных горели стосвечовые лампочки, но тепла они не давали. По утрам во время пробудки было еще темно. А снаружи невыносимо холодно. Выйти голодным из барака на мороз — жуткое испытание. И не одетым. Всё это вы уже знаете, и вас от этого блевать тянет. Но погодите.

Помню, еще до войны, полицейские вели человека и били его по морде. Я глаз не мог от них оторвать. А за ними шла кучка людей. И невозможно было не смотреть. Может быть, для вас тоже найдется что-нибудь такое, на что вы не сможете не смотреть.

Я был помощником врача и иногда получал зарплату: 50 рублей. Это были немалые деньги. У меня заканчивалось ночное дежурство. Я звонил в карцер, сказать, что через 15 минут приду. На кухнях телефона не было. Я не мог позвонить, что приду жрать, то есть снимать пробу. Рассеивался кошмар, что вдруг ночью кому-то из женщин приспичит рожать. Я в этом ничего не смыслил. Гриша говорил:

— Ты только сходишь туда. Они сами между собой.

Я знал, что такое «они сами между собой», но это было другое дело.

Электростанция светилась, будто раскаленная добела. Узбеки говорили: «Фаро».

Это означало «фараон». И они боялись. Увешанная сварщиками, издали Она выглядела, как бриллиант. Две турбины уже работали, но их не было слышно. Стосвечовые лампочки, электрическое оборудование на кухне. Туман постепенно поднимался, и Она, четырехугольная, гигантская, без окон, одним плечом обнимавшая Волгу, возносилась ввысь и нисходила меж вспышек электросварки. Узбеки бормотали:

— Фаро.

Потом добавляли так тихо, что это можно было принять за иллюзию:

— Он.

Мы шли из лесного лагеря. По 60 километров в день. Сквозь усталость, тяжелую, давящую, просачивалось любопытство. Беспрерывный грохот, все ближе. Галлюцинация от усталости? Мы вошли в город, где приходилось кричать, чтобы сказать что-то. Местные привыкли. Объяснялись жестами. Они работали на невидимом, подземном заводе авиационных моторов. В каждую секунду испытывалось 700 штук. Владычица жизнью наших!

Двойной световой сигнал. Перед кухней ссора. Три порции супа на земле. Галдеж, как в улье перед вылетом. На моих нарах сидит маленький портной из К., смотрит в одну точку и что-то говорит себе под нос. Гриша заболел. Придет только ближе к вечеру, когда будет больше работы. Не судьба мне поспать, ни днем, ни ночью. По многим причинам. Три световых сигнала. Маленький портной сидит на нарах. Он боится холода. Смелые из смелых плачут, когда выходят на работу. Слезы не капают. Сразу замерзают. Этот маленький никогда не плачет. Но боится выйти. Пока бригадир его не выгонит. Некоторые еще спят, на ходу. Растягивают сон до выхода. Ни капельки вам это не поможет, братцы, уж я знаю. Разбудит вас ветер с Волги, с которым я разговаривал ночью. Проснетесь с инеем на ресницах. Горе тем, кто не ест супа.

15 минут на карцер. Километр бегом. Внутренне настраиваюсь. Как будто во мне что-то сжимается. Твердеет и обостряет чувства.

Опрашиваю. В наличии 76 человек. Я видел их, за несколькими исключениями, вчера, позавчера и т.д. Стоят в коридоре в ряд, вдоль стены, по стойке «вольно». Начальник карцера:

— Посмотрите.

— Где?

— В камере.

Киваю.

За пятнадцать минут я должен понять, как у этих людей со здоровьем. Месяц в спецколоне — все равно, что год лагеря. Так говорят. И нужно быть начеку, чтобы не попасться. Это не так просто, когда все измождены. Я в напряжении. И вдруг на меня сходит пугающее спокойствие. Я не слышу, что дальше говорит начальник, он просто шевелит губами, как рыба, я вижу и слышу только 76, только их.

— Ну что, ребята? Говорите.

Начинаю с первого лица, крестьянское, в меру бледное.

второе: — нет, симулянт;

третье, первое кричит: — жар, щупаю пульс — нет, одновременно вижу задранную штанину шестого, флегмона: — выйти из строя;

четвертое, пятое, седьмое;

седьмое: — ну, брат, попадешься ты мне;

восьмое;

первое истерично: — температура, ставлю термометр;

девятое;

седьмое говорит — у меня всего три дня;

десятое, одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое, четырнадцатое;

пятнадцатое — нож, чарующе улыбаюсь, помогает, но не всегда;

первое проделывает подозрительные движения с термометром, даю знак, что вижу;

шестнадцатое;

семнадцатое, убедительно, голый зад, подсохшая струйка крови, известный геморройщик;

восемнадцатое, девятнадцатое;

двадцатое, оставить, парень белый, пульс 130: — выйти;

вдруг семнадцатое, повернись, покажи морду, больше не надо, покажи горло, кровотечение, туберкулез, желудок, не знаю, почему показал зад..., потому что..., потому что..., звонить в больницу, положить;

двадцать первое, двадцать второе;

двадцать третье: нога открыта в очень нетипичном месте, должно быть, тер всю ночь, выйти;

первое, беру термометр, нормальная;

двадцать четвертое;

двадцать пятое, московский вор, никогда мне не нравился, ничего не говорит, предлихорадочное с утра, выйти, НУ, ВЫ ...;

семнадцатое, всю ночь с кровотечением, а может, и нет, ввела меня в заблуждение свежая кровь;

двадцать шестое, двадцать седьмое, двадцать девятое;

тридцатое, тридцать первое: сутулится, симуляция, ложись, твердый живот, лучше не надо, выйти;

тридцать второе, тридцать третье;

тридцать четвертое, молчит, но пелагра, крайнее истощение, этого он не может симулировать, уже пора... выйти;

с легким беспокойством смотрю, сколько уже освобожденных;

тридцать пятое, тридцать шестое;

тридцать седьмое: живот, стонет, ложись, щупаю живот, твердый, применяю трюк, щекотка, живот мягкий, субъект ухмыляется, сегодня на работу;

тридцать восьмое, тридцать девятое;

внимание, внимание;

сороковое, сорок первое;

сорок второе: огромный, кидается на меня, грызет подошву, смирительная, вероятно симулянт, поднимаюсь;

сорок третье;

сорок четвертое: прохожу, неподвижные зрачки, еще раз, неподвижные, закрываю, открываю, неподвижные, выйти;

сорок пятое, сорок шестое;

сорок седьмое: ноги, опухшие, как тесто, выше тоже, выйти...

Наконец я добрался до семьдесят четвертого.

Об одном я знал, что лежащий.

— А второй?

Сидит на нижней койке. Член толстым гвоздем прибит к нарам. Совсем не притворяется, что больно. Крови нет. Иду звонить.

— Гриша, придется тебе встать. В карцер. Один тут прибил себе это дело к нарам.

Подписываю. Те, кого я освободил, идут под конвоем к врачу. Этот, в смиренной рубашке, в психиатрическое. Открывается дубово-электрическая дверь. В этот момент четыре световых сигнала. На работу.

Еще 10 минут. Валюсь на снег. Вся усталость набросилась на меня, как собака, и придавила. Сейчас я совершенно обессилен, я выплунут. Им бы хотелось, чтобы я освободил весь лагерь, 70 тысяч человек. Хотелось бы, чтобы я попал в спецколонну. Нет. Им хотелось бы, чтобы каждый в отдельности каким-то чудом был освобожден. Хоть на день. Остальное их не заботит. Поднимаюсь со снега. Здесь он нетронутый, блестящий, как шелк. За сто метров отсюда уже колючая проволока и вышки. Вдалеке слышен оркестр. Оркестр играет. В такую стужу. Ну-ну. Одергиваю халат, делаю километр и еще половину.

Парад. На помосте стою я как представитель санчасти, заместитель коменданта лагеря, кто-то из бухгалтерии или как там это называется. У широкого выхода играет оркестр. Колонны строятся четверками. Семь часов. Возвышение для оркестра освещено. Начинается.

Одалживаю у Вани валенки, чтобы ноги не мерзли. Это долгая история, пока пройдет 30 тысяч человек. Идут, идут. Стахановцы, раззявы, ловкачи, симулянты. Строятся еще в темноте, выползают под яркое освещение оркестра, потом пропадают в тумане. Повалил снег. Дранные фуфайки, ботинки из покрышек, лапти. Крики строящих. Переклички. Бригадиры. Пятятся назад, потом: — Вперед! Пальцы обмотаны тряпками. Все равно задубеют, братцы. У меня щека отморожена. Сорок

градусов. Ветер и снег. Та щека, что к Волге. Тру. У них текут слезы. У самых смелых, за исключением маленького портного. Идут против ветра, на их лицах намерзает лед, на веках иней; дышат.

Бойцы не нужны. Вокруг огромное кольцо из вышек и проволоки. Несколько десятков километров. Не убегут, а куда? Хоть бы и знали Россию, как свои пять пальцев, все равно. Это так очевидно, что они и не пытаются. Разве что сумасшедшие. Даже начальник по жратве в больнице. На воле у него немалые тысячи. Ходит, как барин. Но и он нет.

От бригады отрывается какая-то физиономия и прямиком ко мне. У меня в эту последнюю минуту еще есть право миловать. У тех, что заболели ночью, было время. Те, кто во время выхода — Ваня. Кто в последний момент — я. Лицо закрыто, обмотано до глаз, только глаза блестят. Останавливается. Ничего не говорит. Глаза блестят. Беру за руку. На морозе пульс неразличим. Вижу молодой лоб, желтый. Китаец? Оттягиваю нижние веки: желтуха? Наконец, улавливаю. Тонкая ниточка бьется под кожей, быстро, пропадает, быстро. Оставить. Садится на помост, ноги свисают.

— У кого ты вчера был?

— Александр Александрович, — тихо отвечает он.

Тем временем прошел мой портной. Александр перед началом приема говорит мне:

— Я освобождаю только каждого второго, если болен. Больше не могу.

— Так вы перегружаете больницу.

— Это их забота.

Больной рассказывает мне, что ему говорил Александр:

— У тебя, братец, похоже, воспаление легких. Но что поделаешь? У предыдущего нога была сломана. Приходи завтра.

И назначает камфару, отхаркивающее. Тогда я этому больному:

— Иди к Ольге Петровне.

Ольга — это 20-летняя соплячка. Она здесь заведующая. Вот так.

Парад. Снова стахановцы. Если и были у них валенки, то променяли на еду, теперь в онучах. Онучи — это великолепное изобретение.

Когда в лесном лагере я ходил с бригадами рубить деревья, меня спасали онучи. Восемь километров в один конец. Два месяца я не видел, как выглядят нары, на которых спал. Уходил до рассвета, возвращался ночью. На ощупь. Постепенно приходили пилы, топоры, миски, фонарики. Тогда было лето и полно брусники. В грибах я не разбирался. Попадалась и малина. Пока не пришли пилы, было спокойно. Я выбирал себе поляну в лесу и ложился на землю. Бросал листья в ручеек. Так красиво. Я забывался. Сверчки. Жужжание, поднимающееся над землей. Потом темнеющий лес. Трут. Я разжигал костер и поджаривал хлеб. Стали приходиться пилы. И топоры. Начались крики, переключки.

Проходит одна бригада узбеков. Они массово вымирают. От туберкулеза в разных формах. В нашем лагере целый поселок инвалидов. Если там покрутиться, можно заработать на хлеб. Одни гомо. О-о-о, салют, Джафар. Не плачь. Я не сержусь. Был с тобой случай. Перевязывал тебе язву, а ты меня поцеловал. И хотел. Прошли, утонули в метели. Играет оркестр. Не знаю, как — пальцы ведь.

Электростанция сереет. Иногда пропадает в снегу. Все новые колонны. Людей уже не видно, один снег и движущаяся масса. Мне холодно, холодно. Мысли у меня замерзают. Стою, стою. И стою. Новые колонны. И еще. Они идут прямо на меня, идут сквозь меня. Я вижу только их небритые, впалые лица. Пытаюсь их остановить. Но они не замечают меня. Идут, как будто меня нет. Я вижу их, то, как они умирают.

Закрылись огромные ворота. Убегаю на кухню. На первую попавшуюся. Еще минут пять не могу оттаять. С меня капает. Потом я пробую и пробую. Это тоже входит в мои обязанности. Пробую первый котел, второй, стахановский, четвертый. Подписываю, что соответствуют образцам, выставленным на витрине. Потом вторая кухня, четвертая, в пятой я только осматриваю.

Раз мне дали здесь банку консервов. Думали, что я пес, что буду пакостить. Но с того раза больше ничего не дали, потому что я не пес. Я недотепа. Дают только немного хлеба, иногда. Думают, мало ли что. Тем временем я иду бриться.

Парикмахер хорошо оснащен. Узнаю то, что приходит от нас. Вазелин, средства дезинфекции. У парикмахера десять стульев.

Чисто покрашено. Белые халаты. Флакончики, от которых пахнет. Зеркала. Он следует образцам, старается. Для меня есть одеколон, хорошее мыло.

К парикмахеру может пойти любой. Да не у многих хватает на это сил, желания. Для инвалидов, которые бы здесь сидели постоянно, потому что приятно, отведены отдельные часы, не частые, правда. Так что полное расслабление. Здесь работают точно такие же, как на воле. Болтуны. Там, на воле, они бреют, в основном, женщин, а здесь нет. Ну и болтают. Что, мол, он придет, так как у него чирей на заднице. Принять отдельно. Мастер говорит, что для важных клиентов ему нужен ланолин. Особенно для начальника лагерной милиции. Бывший московский прокурор. У меня с ним сегодня встреча. Не нравится он мне. Что, мол, четырех водолазов притянуло к сеткам, и что три дня их пытались спасти, но, в конце концов, бросили. Пришлось бы останавливать электростанцию. Потом, что пришли новые машины для размораживания земли, но их еще не выгрузили. Стоят на путях и ржавеют. Ага, потому что к ним нет проводов или еще чего-то там. Что теперь будут привозить бетонные плиты, выкладывать канал. И пятое, и десятое.

Пытаюсь немного вздремнуть. Но меня будит одеколон. Бегу в амбулаторию. С 9:30 прием. Секретарь уже в работе. Его фамилия Бюхлер, и он говорит по-немецки. Естественно, 58-я статья. Он молод, двигается с необычной грацией тяжелых сердечников. У него красивые руки. Спрашиваю о Грише. Тот у начальницы, 20-летней соплячки. Докладывает по делу об этом прибитом члене.

Гриша — сорокалетний колхозник. Что-то растратил. Ему дали три года. Вернулся, опять растрата. Дали пять лет. Здесь, в лагере, научился фельдшерскому делу. Впрочем, во время войны он был санитаром. Много знает. От облысения лучше всего обрить голову, а потом смазывать йодом. Якобы помогает.

Итак, с этим членом. Выходит Ольга Петровна, за ней — Гриша. У Ольги голубые, раскосые глаза, некрасивый нос. Стройная. Красивые икры и колени. Всю толпу держит в руках одной улыбкой. Семьдесят тысяч. Она тактична и сдержанна. Хорошо подбирает людей. Решительна и умна. При этом добрая. Если говорит: «Нет», это звучит так, как у другого бы прозвучало: «Да».

Нелегко мне было попасть в амбулаторию. Требовалось получить согласие начальника лагеря. Неизвестно почему, но я ей понравился. Я знал, что меня примут. Она с улыбочкой

экзаменовала меня. Уставилась на меня, вглядывалась, не спускала глаз, раскосых, голубых. Она сидела в кожаном кресле, я на стуле. Нас разделял стол. Ну и то, что она была «вольной». Дозировка пантопона. Симптомы воспаления легких и т.д. А потом, почти без перехода:

— Насвисти какие-нибудь ваши шлягеры. — Я застыл, как насекомое. — Ну, насвисти, не бойся, стены со звукоизоляцией.

Я насвистел ей «Парней с «Альбатроса», «Голубое небо». Свистел, наверное, минут пятнадцать.

— А танцевать умеешь?

— Нет.

— Почему?

Я стал ей не так интересен, но она улыбнулась и сказала:

— Ну, можешь теперь приступить к работе.

Подала мне руку. Как хорошо я это сейчас помню. Что ты поделываешь после всех этих лет, Ольга?

Теперь я был на исключительных правах. Даже начальник лагеря не смог бы сходу убрать меня.

Я забыл, что она уже вошла, а за ней Гриша. Гриша хрипит, кашляет, лицо красное. И я покраснел из-за того, что они идут по поводу этого члена. Думаю: — Хорошо, что мне там не нужно быть.

Но она говорит:

— Может, ты пойдешь. Ты был в карцере? Ну и хорошо. Пойдем.

Она в валенках, красиво одета. Мы идем в сторону снега, похожего на шелк. Она спрашивает:

— Это правда, что ты освободил пьяного?

— Правда. Но он из милиции. Заместитель начальника.

— Тебе нужно быть очень осторожным.

— И как мне быть осторожным?

— Слушай, ты у нас недолго. Советский человек знает, даже в лагере, как себя вести. А ты нет. Хочешь работать в больнице?

—Хочу, только...

— Я знаю. Только ты не сможешь... Да?

— Да.

— Ну, так оставайся в амбулатории. Только не делай глупостей. Хорошо, что мне Федя об этом пьяном рассказал.

Над Волгой дым.

— Это правда, что у вольной медсестры Наташи что-то есть с каким-то зэка?

— Правда. Все об этом говорят. Что это у них бывает на столе в амбулатории. На очень неудобном...

— Достаточно. Поговорим о чем-нибудь другом. Мне придется уволить Бюхлера.

— Почему?

— Приказ сверху, что всех с 58-й... Он мне очень нравился. Все, хватит.

Я посмотрел на нее. Лицеистка в школьном пальто. В темно-синем, с меховой опушкой. С каракулевым воротником. Только на голове кожаная шапка-ушанка. Раскосые, голубые глаза.

— Ага, ассенизаторы хорошо справляются? Во время твоих дежурств?

— Хорошо. Сейчас... — я не знал, как сказать по-русски «кал» — замерзший, и приходится его срубить.

— «Говно», ты хотел сказать.

— Да.

— У меня нет времени ходить по уборным. Я полагаюсь на тебя. А бараки 132, 133 обработали газом?

— Да. Инвалидам пришлось потесниться.

— Ну а как же. Они хотя бы в баню ходят, как положено?

— Некоторым зимой не хочется. Узбеки мерзнут страшно.

— Пускай мерзнут, но обязаны ходить. Скажешь дневному дежурному.

— Они после бани часто получают воспаление легких.

— Пусть получают. Я здесь не потерплю ни вшей, ни блох.

Инвалиды, которые мерзнут голыми в бане. Ждут одежду из дезинфекции. Она чувствовала, что у меня есть какие-то возражения.

— Ты думаешь, за мной никто не следит? И так должно быть. Я так с тобой разговариваю, потому что ты с Запада.

Мы подошли к воротам карцера, которые автоматически открылись. Начальник:

— Докладываю, что Ахматов отказался выйти на работу и прибил себе...

Она махнула рукой:

— Проводите.

Мрачная камера, освещенная лампочкой. С глазком. Этот Ахматов — бородатый крестьянин. Крепкий и худой.

— Ну, Ахматов, что ты вытворяешь?

Ахматов молчит, качает головой, как маятником. Двигает кадыком. Этот не ловкач, о, нет.

— Ахматов, гражданка заведующая...

Ольга обрывает начальника карцера. Видно, что Ахматов еще не отошел от мыслей. Что он думал всю ночь. И много других ночей. И прибил себе. Угрозами тут ничего не добьешься. Он бы изрубить себя дал. Моргает глазами. Она вскакивает на нары, на второй ярус. Садится рядом с ним. Говорит начальнику карцера:

— Выйди!

Потом берет в руки его огромную голову. Он перестает ей мотать, проснулся. Отсутствующе смотрит на Ольгу. Та говорит:

— Ну, как тебе не стыдно?

Он прикрывает член рукой.

— За что ты здесь сидишь?

— Пайку хлеба украл. Не хотел выходить на работу.

— Ну, вытаскивай этот гвоздь.

Он знает, что, если вытащит, то все начнется сызнова. Она, угадывая его мысли, спрашивает:

— Какой срок?

— Три года. Кулак, кулак.

— Сколько сидишь?

— Два года.

— Дурень, через год выйдешь.

Но есть в нем крестьянское упрямство. Она добавляет:

— Я сама вытащу.

Он хватается руками за нары и начинает реветь. Не от боли. Нары трескаются под его руками. Он ревет, как буйвол. Она тем временем вытаскивает гвоздь. Смотрит, насколько поранено это место. Потом спрыгивает с нар. Мне:

— Сделай перевязку.

Он все ревет, аж карцер трясется. Столько месяцев его тихого бунта пропало зря. И, в сущности, бесцельного. Ольга кричит:

— Ахматов! Молчать!

Ахматов в первый раз осмысленно смотрит на нее. Его взгляд обмякает. Он начинает беззвучно плакать. Она говорит:

— А в следующий раз тебе только милиция поможет, Ахматов! Запомни!

И выходит из камеры. Нет, возвращается.

— Обработай мне йодом...

Показывает три глубоко пораненных пальца. Он постарался забить этот гвоздь как следует. Я сделал перевязку и выхожу. Она говорит начальнику:

— Я уж сама там с милицией...

Потом мы выходим на снег. Она морщит детский лобик:

— Принеси ему сульфамида.

Ее все еще интересуют ассенизаторы. Получают ли они молоко? Даже водолазы не получают молока. В нашем городке-лагере есть стадо коров. Электростанцию снова укрыл туман. Уже девять. В 9:30 прием, для освобожденных и ночных бригад. Мы проходим мимо барака стахановцев. Иллюзия? Граммофон. И «Скерцо» Мендельсона с Флиером. Я решил вернуться сюда, когда будет время. Но у меня никогда его не было. Так я и не узнал, было ли это галлюцинацией. Снова метель, но такая, что за два метра ничего не видно. Вернулась в амбулаторию, как кукла: красные от мороза щеки, белая кожа, губы неправдоподобно алые. Вернулась в кабинет, где экзаменовала меня, и пригласила Бюхлера. На другой день его уже не было. Его перевели к остальным с 58-й, которых отправили на этап.

У нас пять терапевтов и один венеролог. Стоматолог тоже есть. Ваня, Петя и двое других готовят перевязки. Я и Гришка № 2 приготавливаем лекарства. Стоматолог обычно был занят тем, что делал золотые передние зубы. Это такая мода, которая пришла из Москвы. И лагерные сановники делают себе золотые зубы. Например, начальник по жратве в больнице. Женщина с ребенком приходит за ватой. Приходят от парикмахера взять вазелина. И немного спирта, который так необходим. Денатурата, естественно. Приходит за кодеином лекпом из больницы. Он наркоман и очень симпатичный. Сам делает небольшие операции. Даже аппендицит, если без осложнений. Через три дня больной уже ходит. Вдруг посыльный от Ольги, чтобы я пришел. Она копается в какой-то статистике. Не поднимая головы, говорит:

— Звонили с пункта 126. Что-то случилось там, где поляки работают. Лучше будет, если ты сходишь.

Я знал пункт 126. Там была уютная теплая избушка и лекпом, который всегда угощал чаем. А иногда хлебом.

— Только быстро, — добавляет Ольга.

Хлеб он получал за освобождение от работы. Имел такое право. Итак, я бегу на пункт 126, который находился по другую сторону Волги. Там, где рыли канал и полагалось быть шлюзам. Путь неблизкий. Все время железнодорожные рельсы, расходящиеся, как пальцы. Потом трактор. Тянет огромное дерево. Потом опять рельсы. Много рельсов. На них вагоны. Бегу и думаю, что не успею сегодня к начальнику лагеря. Снова придется ждать неделю, а здесь каждый день в напряжении. Наконец, я на берегу Волги. Тут действует канатная дорога, по

которой перевозят землю. Я тороплюсь, поэтому прошу здешнего лекпома организовать мне переезд. Вагонетки с грохотом влетают в цех. Переворачиваются. Высыпают землю. Мне тоже предстоит ехать в такой. Меня сажают. Р-р-р-р! Резкий рывок. Все уменьшается, как при полете самолетом. Наконец, я оказываюсь над Волгой. Вагонетки едут быстро. На людей они не рассчитаны. При этом еще и раскачиваются. Я держусь за стенки и поручни. Наверху ветер. Я не отдал Ване валенки. Проезжаю над электростанцией, высоко. Если бы не метель, было бы на что поглядеть. Вокруг меня туман. Вдруг вагонетка останавливается. Если ремонт серьезный, это может быть надолго. Зависаю посреди Волги. Размяться бы, да вагонетка маловата. Ехать в ней можно в эмбриональном положении. Только. Наверху ветер. Я замерзну здесь. Тру себе щеки. И уши. И нос. Наконец, она трогается. Так резко, что я чуть не выпал. Делает «З-з-з-з!» и останавливается в цехе. Никак не вылезу. Им приходится мне помогать. Я немного не в себе. Меня провожают до пункта 126. Перед пунктом я вижу, что там делается.

Им не дали лопат. И заступов. Они развели костер. Спереди слишком жарко, а сзади слишком холодно. Прыгали, как обезьяны. Большой костер. Все холоднее и холоднее. Хочется войти в огонь. Мой портной так и сделал. Сперва начал танцевать вокруг костра. Потом вошел. И на нем загорелась одежда. Он все танцевал. В пламени. Электростанция была нереальной, как нарисованная карандашом. На фоне электростанции он танцевал свой огненный танец. Маленький местечковый портной. Потом на него лили воду. Потом он заледенел, как Лотова жена. Не мог пошевелиться. Но был огонь. В ледовой скорлупе, в огне, прямо как святой. Он шествовал. А вся бригада свихнулась, и давай вокруг него. Двигались в танце. Бум-бум, как негры. Я захожу в костер и хватать портного. Немного припало меня. Портной, который никогда не плакал. Он и сейчас не плачет. У него сосредоточенная мина, будто что-то ищет в костре. 126. Я получаю чай, мой портной ест снег. Некоторым это лучше утоляет жажду. Я выпачкал Ванины валенки углем и землей. Оставляю его на попечение лекпома-126 и возвращаюсь. Пусть себе полежит, бедолага. Здесь тепло. А бригада все пляшет вокруг огня. Снова сажусь в вагонетку, на канатную дорогу и со свистом влетаю в цех. Выпадаю из вагонетки, как земля. Лежу. Очень хочется спать, так и лежал бы. Но меня поднимают. Я видел машины для размораживания земли. 9:30. Мне нужно поспать. Видел женщин на работе. Стряпают. Немного посветлело. Электростанция выписана пастелью. Владычица жизни. Не будет канал готов к весне. И огромные бетонные

плиты. Занимают целый вагон, на котором написано «12 тонн». Никому такого не поднять. Разве что американскими кранами. Пошатываясь, бреду в амбулаторию. Иду отчитаться перед Ольгой. Но ей уже звонили, и не нужно. Ольга освобождает меня на два часа. В барак. Там генерал говорит о немцах. Он болен. Вокруг него много освобожденных от работы. Он не скрывает своей ненависти к этой России. У него «Правда». Неизвестно, откуда. Естественно, 58-я. Он доверяет немцам. Вся надежда на них. Он ходит в хирургический. Строит стратегические планы. Я сразу засыпаю. Мне сегодня еще встречаться со многими людьми. Сквозь сон думаю, что завтра генерала здесь уже не будет.

В лагере люди встречаются, как метеоры. Люди перемешаны, как песок. Есть. Завтра нет. И в лагере свободней, чем на свободе. Немного свободней. Не нужно так осторожничать. А сколько лет сидеть, это почти неважно. Важно только для нас. Для нас — европейцев.

Через полчаса я встаю. Слезаю со своего второго этажа и промываю водой глаза. В бараке довольно тепло. Он построен из досок, между которыми насыпают песок или землю. Теплый и темный, это связано одно с другим. Впрочем, горит лампочка, напоминающая об электростанции. Я стараюсь выглядеть прилично. Иду в женский барак. Мою зубы мылом. Волосы немного отросли. У меня есть польская шинель. Надеваю ее. Отгибаю уши у шапки. От Ваниных валенок, оказывается можно отскрести сажу. И несу подарок: метиленовую синь, которая красит в прекрасный голубой цвет.

Женщины до двух месяцев могут кормить ребенка. Потом выходят на работу. И во время беременности имеют некоторые льготы. Некоторые стараются забеременеть. Некоторые травятся йодом. Некоторые вызывают хинином выкидыш. Прыжками, черт знает чем. Та, которую мне нужно навестить, выкинула. Женские бараки окружены высокой колючей проволокой. Часовой пропускает без всяких трудностей.

Вхожу в барак. Первое впечатление: попугайчики в клетках. Разделены одеялами. Нары у них трехъярусные. И что за состязание красок, вырезок. Как новогодняя елка. Как глоток свежего воздуха. Другой мир. Жизнь, о которой не подозреваешь, здесь же, рядом. Такого многоцветия я давно не видел. У каждой маленькая выставка. Из бумаги, из разноцветных тряпок. Так тепло, что они ходят полуодетыми. Этого я очень давно не ощущал, женского мира.

Я как-то не умею жить среди мужчин. У меня вообще нет знакомых. Разговор лучше всего получается с женщинами. Из каждой удастся извлечь какую-нибудь историю. Пусть самую глупую. А тут вдруг одни, одни мужчины. И с ними соприкасаешься. Возник защитный слой: отупение.

Та, которую мне нужно навестить:

— Наташа, Наташа!

Наташа высовывается из одной из клеток на втором ярусе и откликается:

— Что?

На ней зеленая комбинация. Больше ничего. Она еще ослаблена. Потихоньку, с улыбкой, спускается.

Она была мойщицей в амбулатории, и с ней Ваня. В маленькой комнатке, по ночам. В комнатке, где могла стоять только кровать. Больше ничего.

Вот она осторожно спускается. Как давно я не видел женских плеч и бедер? Нет, это не желание. Это, это... Уже знаю. Вернул пошатнувшееся равновесие. Ренуар. Дега.

Ей 22 года, мальчишеские волосы и удивленный рот. Отдаю подарок. Собственно, я не знаю, зачем пришел.

— Ваня просил передать тебе привет. И навестить. И просил спросить, любишь ли ты его еще.

— Любовь... Сердцу не прикажешь. Мне хорошо без него. За это спасибо. Знаешь, нам должны выдать новые рубахи. Будет такая голубенькая...

— Мне одолжишь на шарфик, хорошо? — высунулась какая-то голова из клетушки. Совсем молодая.

— Ваня очень огорчится. Что мне ему сказать?

— Что... что само закончилось.

— Не хочешь к нам вернуться?

— Нет... Работа была хорошая... Но нет. Потому что все снова начнется. Нет, тем более, я буду на кухне работать.

За этим стоял один сапожник из Польши. Сапожник — это была фигура. За двести километров к нему ездили.

— Ну, что ж...

Мне не хотелось уходить.

— Побудь еще.

Розовый свет. Вырезки из цветной бумаги в окнах. И женщины, смотрящиеся в оконные стекла. И женщины, моющиеся в лохани. Головы высовываются из-за бумажных занавесок, из-под ролет — прозрачных, желтых (атебрин), синих (метиленовая синь), зеленых (бриллиантовый зеленый) и красных, которые очень трудно достать (красный асептин). И ленты. Как на ярмарке. Одни женщины. Моются. Переодеваются. Ожидают любовников, могущественных любовников, которые освобождают их от работы. Я закрываю глаза. Медленно открываю. Я впитываю все, как губка. Вбираю — всеми порами.

— А что это за пальто?

— Польская шинель.

— Сюда ее довез?

— Довез.

Она всегда вызывает интерес.

— Ну, девочки, мне уже пора.

Я вышел. Отдал пайку хлеба часовому. Инвалиду-калмыку. У него другие интересы. Не женщины. Я возвращался через серый мир. Лишенный цвета и плоский. О попугайчиках старался не думать.

Вернулся я в перерыв. Гришка с температурой. Бинты разбросаны. Беспорядок. Пусто. Только ковыляет старая Александра Петровна. Докторша. Гриша — это умник-разумник. Сажусь около него. Он лежит на кушетке для пациентов.

— Ну, как ты?

— Если пожру, мне полегчает. Иди к повару на девятую, к этому одноглазому, и скажи ему, что я, Гриша, лежу больной. И сам заодно поешь. Иди, молодец. А нет, так сдохну здесь. Жратва только и помогает.

Девятая кухня недалеко. Я вхожу и ищу повара. Вот он. Сверлит меня одним глазом. Я теряюсь. Он сверлит еще сильнее. Говорю

ему:

— Гришка заболел...

— Что?

Притворяется глухим. Ему это доставляет удовольствие. Я подхожу поближе:

— Гришка заболел...

— Тут что-то так, да не так.

Я еще сильнее смешался.

— Тут что-то так, да не...

Он поднял свой белый колпак, открыв лысину огромных размеров, с пучком волос. Потом уселся и поворачивает свою ладонь то так, то эдак. Так он выражает свое сомнение. Я в третий раз:

— Гришка болен, может, еды какой-нибудь.

Он отодвинул меня от себя.

— Я же не глухой. Слышал. Слышал. Что-нибудь придумаем.

И дал мне банку тушенки. И макарон велел согреть.

— На. Пусть Гришка выздоравливает.

Фальшивит.

Макароны на сковороде диаметром в метр. Чувствую в кармане банку. Макароны жирные, подрумяненные. Гришка сорвался с места. Открывает скальпелем банку. И всю сковороду. Урчит, как медведь. Чихает. Кашляет. И дальше урчит. Съев половину сковороды, задумался:

— Так-то так...

И с грустью в глазах продолжил. Это означало, что мне ничего не останется. Я сварил в стерилизаторе картошку. Приправил рыбьим жиром. Соль у меня всегда с собой. И ел. Гриша посмотрел на меня и выдавил:

— Ну, вот.

Он поел, и мне пришлось нести сковороду назад. Гришка повернулся к стене и спит. Санитары убирают. Моют полы.

Подбирают бинты. Закрывают пузырьки пробками. Один, глядя на меня, пьет *ferrum pomatum*.^[1]

— Хорошая, сладкая, как вино, — говорит.

Гришка вдруг поворачивается, зыркает одним глазом, потом бух, спит.

— Хватит, ты, морда, — бурчит он.

Тот перестал, посмотрел на меня. Объявляет:

— Я на воле электротехник.

Драит пол.

— Я на воле элект...

— Ну и что?

Хохочет.

— Угадай, на сколько меня засудили? Угадай. За два с половиной метра проволоки. А я еще свой метр доложил.

И зенками ворочает.

— Знаешь, сколько я метров наворовал?

Подсчитывает, подсчитывает.

— Три километра, а может, четыре. Сам не знаю.

И драит пол.

Я начинаю понемногу готовить бинты, микстуры. На марлю разных размеров кладу однотипные мази. Их делают тысячами. Приходит Петя. Он делает то же, что я. Потом Ваня. Он готовит клизмы, пробирки для осаждения крови, стерилизует шприцы. Для морфологии. Анализ мочи. Сходятся доктора. Четыре женщины. Становится шумно. Врачи на клочках бумаги выписывают рецепты. Потом больной приходит ко мне. Я делаю ему одно, другое... Перевязки я научился делать быстро и так, чтобы они не спадали. Триста, четыреста перевязок за вечер. Это что-то. Ваня перевязывает кое-как. Полы отдраены. Все в белых халатах. Как тореадоры. Там, в приемном покое, шум, гвалт, ссоры, драки. Гриша спит.

— Ну, — говорю, — вставай, на работу.

Ольга проходит через приемный покой. Он затихает, как море. Потом снова всплеск. Я иду к Анне-докторше, чтобы освободить кое-кого. Отправить его в больницу, как будто у него чесотка.

— Хорошо, — соглашается та.

Она маленькая и молодая. Месяц тому назад окончила медицинский институт. Мало что умеет. Полна благих намерений. У нее красивые валенки.

— Мне пора, — говорю я ей.

Возвращаюсь. К нам входит Ольга.

— Все в порядке?

— Да, да. Открывайте дверь.

Вваливаются толпой. Как быки. Гриша:

— Только с карточками, только с карточками.

Теперь пошла молниеносная работа. Перевязки паха. *Adonis vernalis*^[2]. Ртутное средство от опухоли. *Digitalis*^[3] только лежащим (утверждающим, что они лежащие). Разные размеры бинтов. *Ung. Hydr. Prec. Albi*^[4]. Вместо йода зеленка. Иногда сульфат. Изредка в больницу. Обморожения. Гниющие пальцы, носы. Клизма. Укол мышьяка. «Ну, спускай штаны». Пока он возится, делаю две перевязки. Санитары готовят шприцы. Внимание, внутривенный укол. К счастью, у него есть вена. Легко попадаю. Перевязка-шапочка. Из бинта. Вонючие тела. Пот. Снова клизма. Этот думает, что ее принимают через рот. «Спускай штаны». Смотрит на меня, удивленный. Не понимает, что я хочу ему сделать. Одновременно делаю перевязку локтя. Локоть и колено. Чтобы держалось. Целый рабочий день. Этого с клизмой приходится учить положению на боку, колени согнуты. Осаждение крови. Завожу часы. Вбегает женщина и воет. Держится за живот. С ней Ваня. Она все воет. Я делаю перевязку ступни. Чаще всего, потертости. Она все воет. Ваня пантопон. Говорю: — Подожди. Но Ваня уже успел. Висмут от поноса. Нет, не помогает. Узнаю почерк Анны-докторши. Та, что должна отправить на отдых. Даю выпить риванол. *Ferrum romatum*. Любимый напиток больных и здоровых. По старым бинтам уже ходят. Все сильнее пахнет гноем. Вытаскиваю из карбункула стержень. *Parametritis*^[5]. Посылаю к венерологу. Под конец ты как в угаре. Карбункул большой, с ладонь. Тем временем, все хуже видно, все сильнее

воняет. Гришу рвет. Куриная слепота. Даем побольше витаминов из хвои. И так три, четыре, пять часов.

Между делом вижу господина, опрятно одетого. Ждет. Хочет свечи и хочет, чтобы я посетил его. Уже сегодня. Барак техников № 226. Он иначе говорит по-русски. Вероятно, лучше. Прощается.

— Надеюсь, что еще сегодня попотчую вас чаем. Заверяю, что хорошим.

Забирает свой до блеска начищенный котелок. Кланяется. Это необычно. Его снова заслоняет задница наизготовку. Я запоминаю господина. Обычно я узнаю людей по частям тела. Зажигают свет. Чувствую, как мои руки проделывают сложные движения. И даже точные. Амбулатория полна испарений, смрада. Хочется лечь на бинты и уснуть. Лишь бы спать. Нет уже сил на прыщавых, опухших, вонючих. На хронических и желтых. Еще один, и еще, и еще. Наконец, Ваня закрывает дверь и говорит:

— Хватит.

Гриша сразу ложится на кушетку. Я говорю:

— Подвинься.

Лежу и думаю. О том, как было в лесном лагере. Было несравненно тяжелее, чем здесь. И всё же. Ходили к уборной собирать селедочные головы. И сосали их. В больничку было не войти. Так воняли шестеро больных флегмоной. Не было сульфы. Были отечные, все чаще опухали конечности. Это напоминало *elephantiasis*^[6]. И всё же. Особенно, осенью. В лесу на болотах я провалился в яму. Отыскивали меня собаки. Я не мог найти направление. Тонул в трясине. Потом наступили морозы. Я срывал ягоды шиповника. Они были сладкие. Я боялся, что забуду, как меня зовут. Записал для себя на бересте. Перед этим спросил у нескольких знакомых: Как меня зовут? Их ответы совпадали. Кроме одного. Бересту я носил с собой. Люди литрами пили соленую воду. Опухали и получали освобождение. Но часто умирали. От острого воспаления почек. Встаю, уже встаю. Иду в барак техников. Господин живет на втором ярусе. Замечает меня.

— Минуточку, пожалуйста. Я не могу вас принять. Мне нужно надеть черный костюм.

И переодевается из серого костюма, связанного веревочками, в черный. Этот черный очень старый. Господину лет шестьдесят, и в его поведении есть какая-то нездешность. Он представляется:

— Игорь Александрович Ясенин.

Потом приглашает меня на верхнюю полку. Он приготовил творожные кексы. Бежит за горячей водой. Заваривает чай. Роется в карманах черного костюма (который оказывается смокингом) и достает небольшую фотографию:

— Вот моя матушка.

— Где она живет?

— В Ленинграде.

— А она жива?..

Испуг на лице от такого вопроса.

— Жива, жива, слава Богу.

Неожиданный переход:

— У меня за всю жизнь не было женщины. Я читал «Смерть в Венеции». Это последняя книга, которую я смог достать. Василий из больницы изменил мне. Помню... помню, мы вместе были в бане. У него такое красивое тело. Тогда он не был лекпомом. Это уже потом, когда я за него попросил. Он умный парень. Со средним образованием.

— На каком языке вы читали...

— По-немецки. Я и французский знаю.

Мы говорим по-немецки.

— Что вы здесь делаете?

— Получаю больничный котел, летом занимаюсь огородом. Вот и все. Но теперь должен смениться начальник лагеря. Тяжелые наступят времена. Он ведь меня не знает.

Молчание.

— Послушай, юноша... Может... может найдется желающий? Может, ты? — я отрицательно покачал головой.

— Или еще кто-нибудь?

— Попробую.

— Очень прошу. У меня в жизни не было женщины.

Начал рассказывать о приемах у княгини Черкасской времен предыдущей войны... и там играл на фортепиано маленький мальчик, сын княгини.

— Так он, кажется, выступал в Польше...

— Да??

Задумался.

— Ну, мне пора идти, — сказал я. — У меня сегодня ночное дежурство. Ага, считаете ли вы возможной деформацию отношений в России?

Он подумал.

— Нет.

Пауза.

— Нет, нет. Знаю, что вы имеете в виду. Как у Кафки. Не представляю себе. Это выдуманная страна. Деформировать можно только то, что существует. Выдуманное нельзя деформировать.

— А вы существуете?

— С точки зрения теории познания — нет. С точки зрения «здравого смысла» — мало, всего лишь очертания тени. Все эти люди — повел он рукой — не отдают себе отчета в том, как мало они существуют...

Молчание.

— А в чем дело?

— Если я когда-нибудь выйду на свободу...

Он махнул рукой.

— Расскажу вам случай. Я работал на севере, в статистике. Принимал телефонограммы: что такой-то и такой-то участок железной дороги построен. Я составлял отчеты, и на основании этих отчетов присылали снабжение. И однажды — комиссия из

Москвы. Осматривали лагерь. Оказалось, что целый год в двадцати пунктах ничего не делается, что вообще нет никакой железной дороги, есть только тундра, а в тундре лагерь с людьми, которые целый год спят...

— Мне на самом деле нужно идти.

— В таком случае, доброй ночи. И не забудьте о моей просьбе.

Я слез с нар. На первом ярусе сидел человек, которому Игорь Александрович, наклонившись, сказал: «Добрый вечер, инженер».

Я вышел из барака.

Вечер. Снова ветер с Волги, который назавтра стихнет. В разные стороны бегут люди. Лиц не видно. Сгибаются. Спасаются от мороза. Как они беззащитны. Трут себе на бегу нос, щеки. Прикрываются тряпками. Одни глаза, чтобы не упасть.

Чем ближе время выхода на работу, тем более ты одинок. Потом взаперти с собственной судьбой. Глаза в глаза. Идешь, как внутри стеклянного шара. Никто, если упадешь, не поможет встать. И ты другому тоже. У тебя нет лишних сил. И нелишних.

Вхожу в уборную. Тут от живых идет пар. Стараются не отморозить задницу. Но не всегда получается. Сапожники работают день и ночь. Портные тоже. Чернорабочие стоят на проверке. Четверками. Не сходится. Стоят два часа. Наконец, выносят больного, который упал в уборной. Инвалиды продают апельсины. За пайку хлеба. Узбеки. Они получают посылки. Все ходят быстро. Из одного барака в другой. Как можно быстрее. Делают остановки. Бригада идет мыться. Я решаю не встречаться с начальником милиции. У него собственная комната, и он водит женщин. Я должен дать ему гражданские брюки. Еще из Польши. Решаю не ходить к начальнику лагеря. Бараки качаются. Вижу яркий свет амбулатории. У меня ночное дежурство.

Гриша спит. Ваня спит. Петя спит. Я тоже прилягу на четверть часа. Санитары убирают, едят витамины. Я не обращаю внимания. Ольга пошла домой. Сегодня еще сидит Бюхлер. Венеролог еще принимает женщин. Засыпаю беспокойным сном. Приходит один, с температурой. Освобождаю. Перед этим нужно записать в книгу. Приходит второй. Температура. Третий, четвертый, двадцатый, шестьдесят первый — у всех небольшая температура. В конце концов раздеваю одного догола. Сую термометры куда попало: в рот, под мышку, в

задний проход. Иногда они симулируют. Местное воспаление во рту, и у них температура. Или в заднем проходе. Или подмышкой. Осматриваю эти места. У них знакомые в больнице: инъекция молока. Рана, которая воняет керосином. Незаживающая. Я освободил 167 больных. Никогда такого не было. Скоро восемь. Закрываю. Только острые случаи. Моя книга отправляется к Бюхлеру. Через полчаса возвращается. Спокойствие. В одиннадцать просыпаются Ваня, Гриша, Петя. Санитары пошли спать.

Ваня потягивается и говорит:

— Может, нам выпить чего-нибудь? Петя?

— А чего?

— Денатурату, конечно. Но его придется немножко процедить.

— Цеди.

— Уже иду.

И лежит.

— Ну и на зуб что-нибудь положить, тоже неплохо бы.

— Неплохо бы.

— Ну?...

— Гриша, марш на кухню.

— У меня жар.

— Симулируешь, брат, это тебе только кажется. Марш. А ты, Петя, берись за процеживание. Только надо будет сделать пять фильтров. А вообще-то я могу пить и непроцеженный.

Тишина.

Орет:

— Я вам, сукины дети, зубы повыбиваю, повешу...

Теперь не до шуток. Петя взялся за фильтры. Гриша — на кухню.

— А ты — ты иди сюда.

Это, вроде бы, мне. Совершенно изменив тон голоса. Почти ласково:

— Что с Натой?

— Да ничего. Велела тебе кланяться. Сказала, что больше сюда не придет.

Секунда тишины. Полной тишины. Я говорю:

— Держи валенки.

— Они мне без надобности. А пальто, твое синее, одолжишь мне?

— Да.

— Ну, хорошо.

Он закрыл глаза. Притворяется спящим. Минута, две, три. Наконец:

— Ну и шлюха.

И уже не притворяется. Смотрит в потолок. Петя молча цедит денатурат. Через пять фильтров. Время тянется. Возвращается Гриша:

— Будет через полчаса.

Спирт капает, капает. Никто ничего не говорит. Ваня смотрит в потолок. Гриша ложится на пол. Я тоже. Под головой фуфайки. Гриша встает, выходит на кухню. Спирт капает. Ваня смотрит в потолок. Как будто что-то ищет. Ваня:

— Сколько там будет?

Из другой комнаты:

— Литра три.

И снова тишина. Входит Гриша. Несет картофельные оладьи и мясные консервы. Мы все вскакиваем. Толкаемся. Едим со сковороды. Запиваем спиртом. Нужно уметь пить спирт. Прежде чем выпить, делаешь вдох. Ваня пьет так, что аж страшно. Из стакана. И жрет. Мы тоже жрем. Ваня, обращаясь ко мне:

— Какая жалость, что ты еврей.

Жрет дальше.

— Алексей не еврей, но подлец, Степан не еврей, но дерьмо, Сережа не еврей, но подлец, Коссовский не еврей, но подлец. Столько, столько подлецов.

Жрет дальше. Ваня, с пьяной нежностью:

— А ты еврей, еврей, подумать только, Боже мой...

Качает головой и вздыхает. Петя расхрабрился, выпив:

— Я раз прикончил одного парха...

— Молчать! Он ведь немножко еврей. А, в общем, мне это все равно. Одолжишь мне синее пальто?

— Да, я уже сказал.

— Иду в бабский.

— Ночью закрыто, — отзывается Гриша.

— Ничего, перелезу через проволоку.

— Проволока очень высокая.

— Перелезу. А вам-то что за дело?

Жрет дальше, запивая спиртом. Ваня:

— Дайте, братцы, эфиру, не с валерьянкой, чистенького эфиру.

Гриша встает, подает большую бутыл. Ваня с наслаждением нюхает. Потом пьет. Вдруг встает.

— Ровно иду?

— Ровно. Но милиция точно тебя закроет...

— Надеваю синее пальто и иду. Иду прямо на проволоку.

Гриша украдкой показывает, что Ваня свихнулся. Ваня себе под нос:

— Заболтаю, заболтаю, улещу.

По его широкому лицу блуждает улыбка. Надевает мое пальто. Последнее слово:

— ...улещу.

Исчезает. Теперь я:

— Ну, марш спать, ребята.

Два, три, четыре часа. В четыре входит Ольга, главный врач округа, двое из НКВД. Ольга мне:

— Сколько человек ты освободил?

— Сто шестьдесят семь.

— Ты не знал о противотифозных прививках?

— Нет.

Ольга что-то говорит людям из НКВД. Один из них:

— Ну, пойдём.

И мне пришлось с ними таскаться по всем баракам, где были освобожденные. Ольга взяла с собой термометры. Теперь температура у больных была намного выше. Это меня спасло. И Ольгу тоже. Тот второй, молчаливый, бормотал что-то про саботаж. Потом зашли в кабинет к Ольге. Прислали за спиртом. «Уже хорошо», — подумал я.

Главврач округа сказал:

— Температура после прививок — это не заболевание. И освобождать ты не имеешь права.

Ушел. Ольга уже не пошла спать. Злилась на меня. Пришлось разбудить Петю, чтобы подежурил за меня. В конце концов, в звукоизолированном кабинете, я стал насвистывать ей шлягеры, отбивая ритм ладонью, пальцами. Тогда она перестала злиться. Сказала:

— Меня чуть не арестовали. И были бы правы. И получила бы я 58-ю. Из-за тебя. А теперь убирайся.

Она улеглась на письменном столе и заснула. Зато я не спал, хотя дежурил Петя. Я лежал на полу, как Ваня, с широко раскрытыми глазами. И думал. Среди прочего, о том, как навещал бы Ольгу в женской части лагеря. О том, что Ваня пошел туда на проволоку. И так далее.

При обходе карцера я не нашел там Вани. Может быть, уснул где-нибудь по пьянке. Может, Ната его приютила. Может быть, он отправился в рай, ведь он жил так мало.

Парад в темноте. Какой-то провод оборвался. Видны только силуэты идущих. Чем дальше от ворот, тем выше они

поднимаются. Электростанция светится. У нее все признаки божества. Она даже утопила 50 тысяч человек, когда сорвало плотину. Молись за нас! Прости нам, как и мы не прощаем должникам нашим! Уж близок час смерти нашей. У-у-у-у!

Перевод Владимира Окуня

1. Спирто-водный раствор яблочнокислого железа (лат.) — применяется при малокровии в качестве средства, содействующего кроветворению. Здесь и далее прим. пер.
2. Адонис весенний (лат.) — лекарственное растение, применяется как средство, регулирующее сердечную деятельность.
3. Наперстянка (лат.) — лекарственное растение, применяется как средство, регулирующее сердечную деятельность, уменьшающее отеки.
4. Белая ртутная мазь (лат.) — антисептическое, противовоспалительное и противопаразитарное средство.
5. Параметрит (лат.) — воспаление околосматочной соединительной ткани.
6. Слоновость (лат.) – увеличение размеров какой-либо части тела за счет болезненного разрастания кожи.

«КУЛЬТУРА» ГЛАЗАМИ ЛЕОПОЛЬДА УНГЕРА

Мой роман с «Культурой» был как операция «Аполлон», пославшая человека на Луну. Ее достижение было не в том, что человек ступил на Луну, а в том, что, стоя на Луне, он смог увидеть Землю с большого расстояния. Такова, в некотором смысле, и моя история с «Культурой». «Культура» дала мне возможность посмотреть на мир издалека — возможность, которой у человека, работающего в ежедневной прессе (а я работал и работаю только в такой прессе), практически нет. История ускоряется в таком сумасшедшем темпе, политика стала настолько сложнее, что трудно воспринимать ее отстраненно. «Культура» дала мне такой шанс, вместе со всей опасностью ошибиться, недосмотреть, не предусмотреть и т. п. Несмотря ни на что, она позволила взглянуть на все издалека и видеть лучше.

Я хотел поговорить сегодня о «Культуре», а точнее, о моей книге, еще и потому, что Польша находится сейчас в стадии раннего капитализма, поэтому надо заниматься маркетингом, рекламировать хороший товар. Наконец, последняя и, наверное, самая важная причина, почему я хотел сказать об этом странном явлении, — это год двойного юбилея: 45-летия Литературного института и, главное, 85-летия Гедройца. Мне кажется, что было бы нехорошо с моей стороны, если бы на моем первом таком вечере в Польше я не упомянул об этом.

Эпопея «Культуры» и Редактора — это, конечно, совершенно другой разговор. Какой-то умный коллектив здесь в Польше должен заняться изучением всего этого, потому что вместе с Гедройцем закончится и «Культура». Стоит обратить на это внимание. Гедройц в Польшу не приедет. Это не его Польша, он себя с ней не идентифицирует, у него к ней претензии. Насколько я знаю, он не собирается в Польшу ни сейчас, ни после смерти. Причины оставим в стороне, потому что это страшно запутанная тема.

Как был «мир глазами Гарпа», так будет «Культура» глазами Унгера.

Все началось со встречи, примерно через год после того, как я приехал на Запад, с Котом Еленским. Это была моя первая

поездка в Брюссель (а точнее, в Париж!) после получения документов, которые давали право таким индивидуумам как я право путешествовать. Кот, который к тому времени уже читал пару моих статей, напечатанных во французском «Экспрессе», всюду уговаривал меня писать для «Культуры». Он сказал: «Напишите Гедройцу, попробуйте, может быть, вам удастся его убедить». Я не старался его убедить, просто написал, что думал и что хотел бы делать. Получил первое письмо от Гедройца (я храню их все, все они не длиннее пяти строк и начинаются с «Дорогой Пан», независимо от ситуации). Тогда он написал: «Дорогой Пан, идея с Брюссельцем очень хорошая». Добавил, что его снова будут упрекать в том, что в журнале больше политики, чем литературы, но сказал: «но, вы знаете, меня это не волнует». И действительно, надо признать, его это не волновало.

Первый текст, который я отправил несколько дней спустя, начинался очень сентиментально. В Польше это было время процесса «татерников» — молодых людей, провозивших «Культуру». Я написал тогда статью, которая начиналась с пафосом: «прошу дать мне одно место на той скамье, где будет в эти дни сидеть «Культура» вместе с Вами», и так далее. Тогда появилась проблема подписи. Я сказал Гедройцу, что, пока Меровский подписывается «Лондонцем», я буду подписываться «Брюссельцем». Впрочем, читатели «Культуры» знают, что после смерти Меровского я вернулся к фамилии. Это было выражением моей скромности.

Через год после отъезда из Польши, в 1969 году, когда время было неблагоприятное как для журналистики, так и для политики, я получил пропуск в фантастический мир. То, что происходило, говорилось и писалось в Мэзон-Лаффите, было прямо противоположно всему, что делалось в Польше. Что представляла собой «Культура»? Несмотря на все перипетии и перемены, примерно то же, что и сейчас — свободный журнал, издаваемый свободными людьми, журналом без стереотипов, предубеждений, табу, журналом для того времени невероятно неконформистским, по моему мнению, даже слишком. Борющимся, прежде всего, с шовинизмом, остракизмом, антисемитизмом и прочими фобиями. Трибуной для всех возможных оппозиций.

Попробуйте поставить себя на мое место, место журналиста, уехавшего из Польши в известных условиях и получившего в свое распоряжение страницы этого журнала. Программу «Культуры» тогда можно было сформулировать без труда. А для меня эта программа имела значение. Это должна была быть

демократическая, светская и толерантная Польша. Ее кредо был человек перед лицом государства, миссией — спасение польской культуры и здравого смысла. Средством было всегда близкое мне печатное слово, потому что Гедройц и люди, сосредоточенные вокруг него, считали, что печатное слово в Восточной Европе оказывает на умы и совести значительно большее влияние, чем структуры, например, эмиграции.

Философия «Культуры» была основана на очень критическом либерализме, или гуманизме, свободном от иллюзий. Это имело для меня большое значение, в том смысле, что учило не рассчитывать на других, прежде всего, на Запад.

Такая Польша, открытая и европейская, но и очень «польская», должна была, по идее Гедройца, занять особое место в мире, совершенно не соответствующее реальной роли Польши, ее экономическому или демографическому значению. Польше предстояло стать центром мощного процесса перемен в этой части Европы, собирать вокруг себя соседей, прежде всего, Россию, Украину и Литву. Когда началось мое приключение с «Культурой», все это звучало как сказка. Это свидетельствует о том, что в редакции «Культуры» работали люди, видевшие мир лучше, чем мы.

Можно сказать, со всеми оговорками, что я узнал Гедройца. Не знаю, знает ли его кто-то вообще. Самый близкий к нему сейчас человек — Херлинг, раньше это был Меровский. При этом Меровский ни разу не был в Мэзон-Лаффите. Гедройц не видел в этом необходимости. Их корреспонденция, из которой я видел пару небольших отрывков, представляет огромную ценность для историков «Культуры» и, прежде всего, для историков Польши. Повторяю, уже сейчас пришло время заняться этой темой. Создание такого портрета потребовало бы общения с друзьями Гедройца, со свидетелями этой более чем сорокалетней, если не всей, истории Гедройца. Он этого очень не любит, не любит, когда его хвалят, ставят ему памятники, чего, впрочем, я вовсе не намерен делать.

Это одиночка. Кот Еленский считал Гедройца человеком очень скромным, застенчивым. Другие утверждают, что он был автократом. Кот, который знал его хорошо, всегда уверял, что у Гедройца большие проблемы с человеческими взаимоотношениями, что у него нет друзей, что он заносчив, что он не знает мира, и это правда. Он так никогда и не встал из-за своего стола, заваленного бумагами так, что они загорали ему мир. Сам он ничего, или почти ничего, не написал, кроме рубрики «Редактор». До сих пор, спустя сорок лет жизни во Франции, он плохо говорит по-французски, что

свидетельствует о степени его уединения в Мэзон-Лаффите. Некоторые видят в нем человека страшно тщеславного, что, впрочем, в большой степени могло бы объяснять его неприязненное отношение к двум другим «папским» институциям на Западе — радио «Свободе» и бывшему эмигрантскому правительству в Лондоне. Те, кто знает его лучше, рассказывают, что он уважает, по большому счету, только двоих: Пилсудского и де Голля. Я все-таки вижу его иначе.

В то же время все согласны в том, что его человеческие недостатки, если таковые есть, сделали из него прекрасного редактора. Он обладает невероятно редкими для редактора качествами, и то, что мешает ему сходиться с людьми — его неслыханная страсть к независимости и недоверие ко всякого рода власти — стали, наоборот, достоинством «Культуры». Тот факт, что сам он не писал, очень помогал ему выбирать, искать, открывать чужие таланты. Я приехал слишком поздно, чтобы попасть в это список открытых талантов, но знаю, что другим это очень помогло.

Я считал Гедройца человеком скорее порывистым, Кот — невероятно терпеливым, наделенным талантом спокойно, постепенно и терпеливо искать и открывать для «Культуры» людей, которым есть что сказать. А скрытность, благодаря которой он десятилетиями держал в тайне содержание следующего номера журнала, и зависть, с которой он смотрел на Зосю Херц, которая знала 15 процентов, гарантировали авторам минимальный риск. Не считая крайне редких случаев неудачного стечения обстоятельств, да и то не из-за сотрудничества с «Культурой», а из-за других причин, практически никто из авторов не «попался». Сейчас эта тайна следующего номера может казаться забавной, но уверяю, пятнадцать лет тому назад всем было не до смеха. Иногда это грозило тюрьмой большой группе людей.

Уверяют, что Гедройц был автократом. Но за двадцать два года он не переправил ни одной моей статьи. Если он придерживался другого мнения, что случалось нередко, то не звонил, чтобы убедить меня в своей правоте, а дописывал свою заметку. Статью никогда не менял. Не знаю, как обстояло дело с другими авторами, но этот абсолютный антикоммунист первым выступил против остракизма, не позволявшего писателям эмиграции печататься в Польше.

Его упорство совершало настоящие чудеса техники, сравнимые разве что с публикацией издательством «ПоМост» моей книги в трехнедельный срок. В течение сорока пяти лет он в

совершенно невообразимых условиях печатает книги, ежемесячный журнал, «Зешиты хисторычне».

Самое главное, наверное, — это то, что благодаря своей сложности в контактах с людьми он выработал специфическую форму коммуникации — письма. Этих писем собралось невероятное количество, у меня есть маленькое собрание, не представляющее существенной исторической ценности, но я знаю, что есть люди, чья корреспонденция с Гедройцем точно станет частью истории Польши этого 45-тилетия.

Вокруг Гедройца, а я полагаю, что в большой степени и благодаря ему, сложилось то, что можно назвать кругом «Культуры». Журнал публиковал тексты примерно двух тысяч авторов, но тот круг, в который человек мог войти, конечно, только «по благословению» Гедройца, включает в себя максимум два-три десятка имен. Кроме бескомпромиссного осуждения тоталитаризма, шовинизма, антисемитизма, кроме верности (в широком смысле) идеалам демократии, «Культура», в принципе, не имела определенной идеологии, программной линии, и это позволяло сохранять широкую амплитуду, особенно в публицистике Меровского. Знаками этого круга можно назвать неприятие национализма, нетерпимости, провинциальности и клерикализма, в том числе, в польской традиции, истории и политике. У нас было немало писателей-ревизионистов, от Ставара или Вата до Колаковского. Здесь были все крупнейшие писатели эмиграции, от Гомбровича и Милоша до Хласко и очень важных для Гедройца русских — Максимова, Синявского и других.

И хотя многое есть во вступлении к книге, я хотел бы добавить пару слов. Как и зачем появился «Брюсселец» и рубрика «Взгляд из Брюсселя»? Уже в первой беседе мы с Котом Еленским пришли к выводу, что хорошо было бы ввести в «Культуру» что-то новое. Не хватало, как я это определяю, двойного взгляда на политику, то есть, взгляда в масштабе макро, «global village», в масштабе мира, а не Польши, а также изнутри, с точки зрения скрытых механизмов политики и политиков. Нужен был взгляд, опирающийся не на готовые политологические теории, конструкты и прогнозы, а на общедоступные реалии, очевидные вещи. Я назвал это политической археологией, не знаю, правильно ли, но мне такое определение понравилось. Это была попытка взглянуть глазами Кандида, без иллюзий. Так в «Культуру» проникли новые темы — темы макрополитики с перспективы «изнутри», начиная от политики в спорте (или спорта в политике), заканчивая ООН, ЮНЕСКО, Европой, Советским

Союзом, а также, хотя и редко, вопросами польскими, еврейскими и даже требующими особой деликатности польско-еврейскими. В книжной подборке «Культуры» я назвал эту рубрику «стена без плача», как мне кажется, удачно.

Какое место уделялось «Брюссельцу»? Это был второй вопрос. После двух-трех пробных материалов Гедройц пожелал видеть его ежемесячно. Я совершал чудеса характера и трудолюбия (а это не самая сильная моя черта), чтобы уложиться в сроки. Это длилось почти двадцать лет, до тех пор, пока наша часть Европы не начала «сходить с ума» и делать революции. Сейчас я стараюсь не сбавлять темпа, но это не легко, я пишу раз в два месяца, пять-шесть раз в год.

Как писать «Брюссельца»? Это третий, изначально непростой вопрос. То, что я пишу ежедневно, в обычную ежедневную газету, носит, конечно, совсем иной характер. Здесь я попытался доказать, что о проблемах фундаментальных, очень сложных, важных, печальных и даже трагических можно писать без пафоса и мины, без котурнов и, по сути, без пиетета. С дистанцией, иронией, сарказмом, даже с юмором. Этот подход не все и не всегда разделяют и одобряют.

Споры начались с самого начала. Первым в Польше, кто меня обругал на чем свет стоит, был Кисель. И хотя сам он сыплет шуточками где только может, к другим у него претензии. Он написал мне письмо, в котором упрекал меня в излишних шутках. Еще говорят, что у меня слишком много сарказма. Это почти что комплимент! В принципе, изначальная форма не поменялась. У меня все тот же (плохой) характер, таков и характер моих статей.

Я отметил дату 9 июня 1970 года. Спустя пару месяцев после того, как я начал писать для «Культуры», я получил от Гедройца первое письмо, в котором он в первый и последний раз оценил мою работу. Он написал, что он получил много откликов, в основном положительных (что из его уст можно считать огромным комплиментом), и сделал только одно замечание, цитирую Гедройца: «они имеют слишком фельетонный характер... Ряд людей полагает (читай — сам Гедройц), что легкое отношение к важным темам полезно, но в меру... Кое-кто ехидно сравнил вас с Тадеушем Новаковским».

Фантастическим проектом было бы создание антологии «Антикультуры», то есть всех пакостей, всей массы идиотизма, которую писали в местной прессе о Гедройце, «Культуре» и ее сотрудниках. Можно было бы назвать огромное количество книг на эту тему, публикаций ЦК, прекрасные серии статей в

газете «Жиче литерацке» и даже в «Жиче Варшавы», не говоря уже о других изданиях. Я сам имел честь быть неоднократно упомянутым в различного рода публикациях, хотя бы потому, что был исключительным, чрезвычайно благодарным объектом. Как у Оруэлла: во мне сосредоточился целый ряд объектов ненависти. Я сотрудничал с американской прессой, с иудейскими газетами, с Польшей, с «Культурой» и т. д... Короче говоря, когда ко всему этому добавилось радио «Свобода», трудно было не воспользоваться таким полным комплектом. Поэтому я не удивляюсь нападкам. Но как это делалось! Просто стыд! Например, я получал письма, подписанные именем и фамилией, с обратным адресом (надо было действительно иметь убеждения!): «Ваше творчество проникнуто безответной любовью к тоталитаризму левого толка. В мешке таится антипольское, про-бегиновское шило. Подлая работа в шутовском колпаке. Несмотря на пинок, Вы все еще прислуживаете красному интернационалу»... Это пример не особенно ценный. Для антологии у меня есть пара глав, почти готовых в форме документов. Гедройц блестяще расправлялся с такими историями. Раз, после моей аллюзии на «промашку кардинала Глемпа», кто-то написал ему: «вышвырните эту пархатую морду, которая оскорбляет...» и т. д. Гедройц, который обожает ответы редакции, написал: «Ваше письмо мы отослали Кардиналу».

Самое интересное, что ждало меня в этой истории, случилось уже «не в сезон». Почти все уже приезжали в Польшу. Был 1988 год, мою газету пригласили на какой-то семинар в Варшаву. Приглашающий знал, что редакция пошлет Унгера, а не господина Дюпона, который в этом не разбирается. Главный редактор тут же подтвердил мой приезд. Ответа не последовало. В посольстве сказали, что его нет и не будет. Мой шеф очень рассердился, позвонил в бельгийское посольство в Варшаве и попросил вмешательства посла. Тот пошел к нашему общему знакомому, министру в тогдашнем правительстве, и сказал: «Извините, но так не делается, вы обидели крупную газету, у вас будут проблемы». А министр в ответ: «Это смешно, при чем здесь «Суар».... В Польше никто не читает «Суар», это из-за «Культуры». Мне было приятно, потому что мой главный редактор пришел ко мне с вопросом — а что такое «Культура»? Я объяснил ему.

Я очень рад, что издательство «ПоМост» опубликовало этот сборник. Пускай с ошибками, но выглядит прекрасно. Первое упоминание об идее отдельного сборника принадлежит Гедройцу и звучит так: «хорошо бы сделать сборник Ваших статей. Я смогу подумать об этом в конце года». Это было 14

февраля 1973 года. Первый сборник был издан в конце 1986 года, спустя тринадцать лет. Второй ждал всего пять лет и вышел сейчас. Я очень рад, потому что в таком темпе есть шанс, что третий сборник, а может быть и «Собрание сочинений», увидят свет еще при моей жизни.

Наконец, чтобы подтвердить наихудшие мнения обо мне, расскажу анекдот. Группа туристов в Тель-Авиве остановилась перед огромной аудиторией, на которой было написано: «Аудитория имени Манна». Один из группы спрашивает гида: — Томаса Манна? — Нет. Генриха Манна? — Нет. — Так какого Манна? — Исаака Манна. — А что он написал? — Чек.

Я хотел сказать вам, что мои финансовые отношения с «Культурой» не позволят мне «написать чек». Мне будет достаточно, если кто-нибудь когда-нибудь на вопрос обо мне ответит: «Это тот Унгер, который писал для «Культуры»».

Благодарю вас!

Варшава, 17 мая 1991 г., Дом литературы

Леопольд Унгер (1922–2011) — журналист. После войны работал в газете «Жиче Варшавы». Эмигрировал в 1969 году. Регулярно сотрудничал с бельгийской газетой «Ле Суар» и парижской «Культурой». Опубликованная стенограмма его выступления, посвященного Ежи Гедройцу, находится в архиве Литературного института в Мэзон-Лаффите.

ЧАСОВЩИК И ВИНТИКИ

Биография Михаила Яковлевича Геллера и по сегодняшний день остается неполной. В ней более чем достаточно пробелов, умышленных пропусков, иногда даже противоречий. Не облегчал задачу и сам герой, дважды «вырывая свою жизнь с корнями» и начиная ее сызнова: вначале, в 1957 г. — в Варшаве, а спустя десять с лишним лет — в Париже. А также — что, быть может, еще важнее — искренне сомневаясь в том, имеет ли смысл слишком уж обстоятельно заниматься собственным прошлым. По поводу такой его позиции выражал сожаление — в одном из многочисленных писем к Геллеру — сам Юзеф Чапский^[1]: «Ни в одном из своих произведений ты ни разу не упомянул хотя бы словечком о себе. Может, теперь пришел такой момент, что пора написать о собственной жизни?» — уговаривал он своего парижского собеседника в 1986 г. Нам остается лишь сожалеть, что на протяжении одиннадцати очередных лет эта просьба так и не была услышана.

В большинстве публикаций жизнь Михаила Геллера описывается с необыкновенной краткостью: детство — в Москве; начатая в преддверии германо-советской войны учеба в вузе; сама эта война, проведенная в тылу; голодные послевоенные годы; ссылка в Прииртышье; свобода, возвращенная по амнистии 1956 г.; через год — отъезд вместе с женой в Польшу; одиннадцать лет работы переводчиком и редактором русскоязычных информационных бюллетеней Польского агентства печати (ПАП); а на рубеже 1968-го и 1969-го — второе «великое путешествие», на сей раз в Париж, где появился шанс получить должность в высшем учебном заведении. И лишь с этого момента начинается биография Геллера как признанного ученого, вехи которой обозначаются прежде всего датами публикаций его очередных монументальных произведений — сначала кандидатская диссертация «Концентрационный мир и советская литература» (1974), а потом одна за другой: до сих пор не переведенная на польский язык монография «Андрей Платонов в поисках счастья» (1982); затем опубликованная в том же году, вначале по-английски, «Утопия у власти» (совместно с Александром Некричем); далее — «Машина и винтики» (1985), впервые со времен ее еще подпольной публикации в издательстве «Помост» вышедшая сегодня в Польше; а затем —

монография об Александре Солженицыне; эссе о Горбачеве и, наконец, дело всей жизни — «История российской империи».

А если бы попробовать, пусть даже отрывочно, расписать не библио-, а биографию, развернуть постную энциклопедическую заметку? Мы знаем дату рождения (31 августа 1922 года) и фразу, которую посвятил этому событию сам герой, признавшись: «Я родился в бедной еврейской семье», — и разразившись после этого смехом: «Ведь именно так писалось в советских энциклопедиях о знаменитых большевиках...». В этой шутке видна изрядная самоирония и дистанция по отношению к самому себе, но, кроме того, еще и наиболее важное для Михаила Геллера пространство соотнесения — им будет, хоть и безжалостно парафразированное, наследие советской цивилизации, ее энциклопедии, мифы и риторика: ведь немалая часть «Машины и винтиков» сконструирована как раз с опорой на похожие парафразы.

Но вместе с тем, принимая во внимание дату его рождения, можно сказать, что Геллер рос и вырос вместе с советской цивилизацией. Он наблюдал также взаимопроникновение старого и нового мира, вырастание топорной советской современности из предреволюционной, во многом сохранившейся России. Наблюдательный пункт у него был превосходный: когда ему было совсем немного лет, семья переехала в Москву, и с тех пор мальчик рос в старом каменном доме в Замоскворечье, в получасе ходьбы от Кремля, рос, как сам пишет, — «между коровником и конюшней». Эти его первые годы словно бы немного взяты из Валентина Катаева, но еще немного — из Леонида Андреева или Бунина; первое запомнившееся впечатление детских лет — рождение жеребенка; во дворе летом громоздятся сани, зимой — поставленные на попу телеги, по улице время от времени проходят татары или поводыри медведей. Лишь с годами мир становится однозначно советским: «кончался нэп, начиналась эпоха индустриализации». На нескольких страницах воспоминаний, кроме саней и жеребенка, нашлось место для визита с матерью в один из магазинов Торгсина, где за мамино истертое обручальное колечко Мише купили школьное пальто; нашлось там также место для описания, как мостили, а затем и асфальтировали ведущие к Кремлю улицы, и наконец, для фразы-исключения, которая дает представление о литературных возможностях Михаила Геллера: «Из тех времен память сохранила воспоминание о голубином полете: лазурное небо, раскачивающиеся в нем, словно чайники в стакане, птицы и бегающие по всей округе голубятники с длинными шестами,

которыми они раз за разом снова поднимают голубей к солнцу».

Очередная сцена — это студенческие годы: дело в том, что в 1940 г. одному из трех братьев «из бедной еврейской семьи» удалось попасть в университет. Причем не в какой-нибудь, а в образованный в начале 30-х годов ИФЛИ, Институт философии, литературы и истории, единственное в тогдашние годы сугубо гуманитарное высшее учебное заведение, которое в воспоминаниях сравнивают с легендарным для русской культуры лицеем, где учился Пушкин.

Осенью 1941 г. эвакуационный эшелон забрал все курсы ИФЛИ-стов в Ташкент; оттуда, после включения этого «лица» в структуры Московского университета им. Ломоносова, они еще попадают в Ашхабад, а потом — в Свердловск; в Москву они возвратятся лишь тремя годами позже, в 1944 г. Было холодно и голодно: в аудиториях Уральского индустриального института, переделанных в спальни, рядами тянулись двухэтажные нары, воду получали из снега, а когда голод заглянул в глаза по-настоящему, стали заостренной палкой таскать капустные кочаны из погреба соседнего дома или же подделывать талоны в столовую на фамилию — естественно — Остапа Бендера... Шалости, проказы — и решения, имеющие принципиальное значение: в том же 1943 году двум самым лучшим студентам на курсе — Михаилу и его товарищу — предложили вступить в ВКП(б). Нет нужды объяснять, сколь много значило бы тогда согласие принять партбилет; во всяком случае, наверняка не понадобилось бы уже подворовывать капусту. Однокурсник принял это почетное предложение — со временем став академиком и занимая целый ряд высоких постов. Михаил Геллер отговорился.

А ведь в то время он уже кончал писать дипломную работу и несколько месяцев был женат на коллеге из ИФЛИ, Эугении (Евгении, Жене) Хигрын. Без этого союза не было бы путешествия Геллера на запад, в Польшу, не было бы ни профессора Сорбонны, ни «Машины и винтиков» — хотя невозможно было представить себе такой поворот событий, когда Женя осенью 1940 г. попала в Москву из Слонима, куда год назад, на следующий день после 17 сентября, вступили советские войска. С собой она привезла несколько платьев, память о довоенной Польше и пылкое желание учиться. В марте 1945 г. на свет появляется Леонид, осенью Михаил успешно защищает дипломную работу, посвященную взаимоотношениям кайзеровской Германии с императорской Японией в годы Первой мировой войны, — и молодые люди

начинают мыкаться в бедности: еврейское происхождение оказывается большим изъяном в биографии, выпускник исторического факультета Ломоносовского университета не может найти работу или теряет ее максимум через неделю, едва только отдел кадров проверит его. Молодые супруги перебиваются с хлеба на квас в сыром подвале — Женя находит себе должность в польской редакции радиостанции «Москва», Миша в отчаянии чуть ли не оптом пишет дипломные работы своим многочисленным менее одаренным коллегам.

Трудно сказать, что перевесило: то ли червоточина в происхождении, то ли двусмысленная слава способного «негра», — но в 1951 г. Михаил Геллер попадает в тяжелый лагерь особого режима на севере Казахстана, в верхнем течении Иртыша, хотя в какой-то момент он успел также побывать в стенах легендарной московской тюрьмы — «Матросской тишины». И здесь, и там он, как и столь многие другие интеллигенты, смог продержаться благодаря умению пересказывать романы, а также благодаря самопожертвованию жены и тому, что его не приговорили по чисто политической статье. В 1956 г. благодаря амнистии он возвращается в Москву, привезя с собой стопку выцветавших с годами совместных фотографий с другими зэками, имена которых подписаны карандашом на обороте, — а также возобновившийся, залеченный было в детстве туберкулез.

И в этот момент у супругов появился жизненный шанс — программа репатриации в ПНР, сформулированная на волне оттепели, охватывала более широкий, чем в 1946–47 гг., круг бывших граждан II Речи Посполитой, которым дополнительно разрешалось забирать с собой близких. Женя решила спасти больного туберкулезом мужа и астматического сына — и в 1957 г. все трое попали в Варшаву. Эугения нашла работу в Национальной фильмотеке, Михаил тоже не остался без занятия — он переводил советскую прессу для внутренних бюллетеней ПАП, вдобавок пересказывал по-русски немереное число информационных и пропагандистских публикаций. И, что еще важнее, — они сразу попали в самое средоточие наиболее творческих кругов польской интеллигенции того периода. «Еще по Москве, где мама сопровождала разнообразные польские делегации, она была знакома с Анджеем Вайдой и Виктором Ворошильским», — вспоминает их сын, Леонид.

Российский эмигрант/репатриант Михаил Геллер оказался в тот момент важным, быть может, даже самым важным посредником между критически настроенной по отношению к

советской власти московской и польской интеллигенцией. Это благодаря его деятельности в Варшаву попали первые звукозаписи Окуджавы (да и сам Булат Шалвович пел в квартире Геллеров для тщательно отобранных польских гостей). Не исключено, что через руки Геллера прошли прежде чем попасть на Запад первые самиздатские материалы и заметки.

Вместе с тем в 60-х годах Михаил Яковлевич приближался к своему 50-му дню рождения, практически не располагая никакими «научными достижениями». Несколько воспоминаний о нем — в том числе наиболее известное, принадлежащее Виктору Ворошильскому — рисуют образ историка, который, вернувшись с работы в ПАП, «ложился на диван и читал, читал...» Не выглядят ли преувеличением стремление доискаться в этих проведенных на диване послеобеденных и вечерних часах какой-то обломовской черты? Не исключено, что такая ассоциация была не чужда и жене, как представляется, интенсивнее всех искавшей возможности вырваться из варшавской гавани, воды которой оказались слишком уж стоячими.

И тогда пришел 1968 год. Для семьи Геллеров отнюдь не безразличны были как атмосфера интеллектуального регресса и развязанная партией польских коммунистов антисемитская травля, так и опасения за сына, вовлеченного в студенческие протесты. С другой стороны, о чем вспоминал сам Михаил Яковлевич, его успех в Сорбонне стал возможным после мая 1968 г., ослабившего позиции тамошних «мандаринов» и приведшего к смягчению строгих правил, царящих в парижской «альма-матер»; лишь в таких обстоятельствах оказалось возможным принять на работу в качестве преподавателя какого-то приезжего, который мог удостоверить свою пригодность только несколькими рекомендациями и (как бы на это ни смотреть) — советским паспортом.

Начинал он с нуля — «с пустыми руками и столь же пустыми карманами», как подытожил эту ситуацию Ален Безансон в посмертных воспоминаниях о Геллере, — но уже первые занятия оказались успехом: в архивах Сорбонны сохранились конспекты целых 72-х циклов его лекций! С момента защиты кандидатской диссертации («Концентрационный мир и советская литература», 1974) позиция Геллера в научном мире еще более упрочилась.

Одновременно расширялся круг (круги) его парижских контактов. Благодаря польским дружеским связям Геллер

сначала попадает в парижскую «Культуру», сотрудничество с которой началось уже в 1969 г. В архиве Ежи Гедройца сохранилось 580 с лишним по сей день не разобранных писем, которыми обменивались между собой редактор и историк на протяжении четверти века их сотрудничества, — и даже если большинство из них, написанных сухим, бесприказным «наполеоновским» стилем Гедройца, касается конкретных работ, то ведь всё равно такое количество дает представление об интенсивности этого взаимодействия.

Собеседников, готовых поговорить о России, становилось, впрочем, с каждым годом всё больше. Михаил Геллер после защиты диссертации сам отправился в «Русскую мысль». Со временем к нему стали попадать все — Ален Безансон вспоминает, как со временем большинство специалистов по истории России и советологов, попадая в Париж, отправлялись в лопающуюся по швам от книг комнатку Михаила Яковлевича, чтобы «согласовать, уточнить или раздобыть взгляды». Наибольшее впечатление производит, однако, тот «первый круг» интеллектуальных сотоварищей-единомышленников Геллера, с которыми ему не требовалось ничего увязывать или согласовывать, поскольку эти люди — попросту говоря — знали, причем столь же ясно, как и он, какова ставка в ведущейся игре: Борис Суварин, бывший коммунист и троцкист, автор одной из первых прозорливых биографий Сталина. Гедройц, Чапский, Зофья Херц и часто бывающий в те годы в Париже Густав Херлинг-Грудзинский. Леопольд Лабендзь, придерживающийся до войны левых взглядов, теперь же издатель, пожалуй, самого серьезного ежеквартального советологического журнала «Survey» («Обозрение»). Бранко М. Лазич, изгнанный из Сербии знаток режима Тито и историк Коминтерна. Два крупных и непримиримых российских эмигранта — Владимир Максимов и Виктор Некрасов, а также дамы: библиограф эмиграции Татьяна Оссоргина, учредительница «Русской мысли» княгиня Зинаида Шаховская и ее преемница, Ирина Иловайская-Альберти. Именно эти люди в полной мере отдавали себе отчет, с кем они имеют дело в лице Геллера, какого соратника по борьбе им удалось заполучить. В их рассказах о нем, собранных воедино лишь в 90-х годах, звучат, конечно же фанфары, но вместе с тем они весьма немногословны: все уже очень утомлены победой, которую, как им могло думаться, они одержали в величайшей битве своей жизни.

Биографу Михаила Геллера предстоит еще многое сделать, даже если он не сумеет уже ничего разузнать ни о Замоскворечье, ни о Ташкенте или о лагере у берегов Иртыша. Однако

приведенный выше перечень самых важных событий и перемен в жизни автора «Машины и винтиков» позволяет, надеюсь, понять, что эта книга — при соблюдении автором всех строгих канонов ремесла и нежелании обращаться к собственной жизни — является, быть может, самой личной в достоянии историка. Мы имеем в ней дело со своего рода «жизнеописанием»: Геллер, будучи почти ровесником Советского Союза, описывает весь тот опыт, который выпал на долю и самого автора, и всех его сограждан, совместно продвигающихся путями Советской России. Он описывает — и доказывает собственной жизнью, равно как и суровой четкостью проделанного им анализа, — каким образом можно было, вопреки намерениям очередных генеральных секретарей, НЕ стать очередным винтиком.

Так каким же произведением следует в таком случае считать «Машину и винтики» — личным или аналитическим? Жизнеописанием или синтезом? Безапелляционное высказывание слишком решительных мнений [...] было бы, видимо, просто излишним [...]; однако, возможно, имеет смысл сформулировать несколько наблюдений или замечаний.

Особое впечатление при чтении «Машины и винтиков» производит множественность пространств и плоскостей, которые для автора составляют, выражаясь на жаргоне историка, «материальную базу», — ту совокупность, откуда он черпает примеры для иллюстрации своих тезисов. Разумеется, каркасом этого текста остается политическая история — наиболее важные события и повороты из истории Советского Союза, возраст которого во время написания этой книги приближался к семи десятилетиям. Михаил Геллер, впрочем, не воздавал в данном случае должного ни очередным пятилеткам, ни партийным секретарям; видно, что больше всего внимания он уделяет «экстремумам функции», то есть периодам кризисов, переломов либо усиления действий, диктуемых идеологией, — первым годам СССР (1917–1921), периоду вызревания и укрепления сталинизма (1926–1934, плюс годы «больших чисток»), послесталинской оттепели. Годы стабилизации и застоя трактуются им в принципе одинаково.

Однако наибольшее число примеров человеческого поведения, технологий осуществления власти либо поиска приватности предоставляют Геллеру вовсе не чисто политические события, а литература. Мы имеем дело с методом, в основе своей похожим на тот, который использовался в произведении этого историка, появившемся на восемь лет раньше и сильно укрепившем его

реноме исследователя: ведь книга «Концентрационный мир и советская литература» тоже возникла не на основе документов из жестко охраняемых и совершенно секретных советских архивов, а на базе сообщений из лагерей и прежде всего — их литературных трансформаций. Сквозь все эти свершения, естественно, просвечивает опубликованный немногими годами ранее «Архипелаг ГУЛag» Александра Солженицына, особенно же — часто забываемый подзаголовок этой книги: «Опыт художественного исследования».

За такой писательской стратегией стоял, несомненно, тот факт, что ввиду отсутствия доступа к источникам, единственным выходом был анализ «производных проявлений» или «эхо-сигналов» системы, которые могут обнаруживаться в литературе. Об этом феномене пишет, впрочем, сам Геллер в «Машине и винтиках», хотя и не напрямую и не *pro domo sua* (в своих интересах), а расхваливая стратегию других: «В связи с тем, что отсутствуют специализированные исследования воздействия идеологического пресса на советских людей, сделанные психологами, психиатрами или социологами, эту задачу взяли на себя писатели, — констатирует он в середине второй части данной книги. — Те немногие из советских писателей, которые нашли в себе мужество, необходимое для правдивого рассказа о себе и окружающем мире, представили человека, раздавленного тяжестью воздуха, которым он дышит».

Вместе с тем все цитаты из литературных произведений — советских и «антисоветских» реалистов, поэтов, авторов научной фантастики, на которых Геллер ссылается исключительно охотно — образуют всего лишь какой-то фрагмент того материала, на котором основана эта необычная книга. В ее основе — программные высказывания, «крылатые фразы» вождей (в первую очередь Сталина), но также второстепенные по соображениям важности (и уж наверняка стиля) отрывки из брошюр или выступлений. В примечаниях и сносках присутствуют шутки и остроты, образчики поведения, факты, зафиксированные прессой (советской и западной), пассажи из самиздата, — а рядом с ними анализ изменений реального звучания тех или иных терминов в очередных изданиях словарей и энциклопедий.

Основой указанного советологического трактата Михаила Геллера является политическая история, однако сама эта работа написана в соответствии не с хронологической, а с проблемной структурой: она представляет собой описание проблематики, попытку разложить «машину»

коммунистического государства на составные части, выделить и препарировать, может быть, не винтики, но так называемые «простейшие механизмы», от культа тайны и непрозрачности до коррупции — имманентной части коммунизма. Как известно, с незапамятных времен каждая камера пыток функционирует, опираясь на классические, хорошо известные из физики простейшие механизмы, от рычага до винта. В случае «простейших механизмов» (или «машин») Геллера мы можем говорить о них в переносном смысле: на прокрустово ложе укладывается человек — неповторимый, не поддающийся измерению, но при этом укорененный в разнообразных общественных структурах, — который должен быть деперсонифицирован, овеществлен и унифицирован до такой степени, чтобы превратиться — воспользуемся еще раз это вынесенным в заголовок убедительным и ярким сравнением — в «винтик».

Представляется, что именно «Машина и винтики», а не «История Российской империи», которая обычно упоминается критиками в данном контексте, является *opus vitae*, главным трудом всей жизни Михаила Яковлевича. Физический процесс написания этой книги мог иметь место уже в эмиграции, однако я думаю, что «Машина и винтики» была провезена контрабандой, если можно так сказать, *in statu nascendi* (в момент ее формирования) где-то под темечком — предполагаю, тем не менее, что она присутствовала и вызревала там на протяжении многих лет. А ведь это означает, что она возникала — немножко наподобие стихов Бродского или повествований Солженицына, — будучи укачиваемой в памяти зэка, московского безработного, варшавского переводчика. Конструировалась из всего, что имелось под рукой: из фрагментов сочинений Владимира Ильича, доступных в лагерной библиотечке, из вырезок (вырванных клочков?) из «Правды», из отрывков прочитанных некогда книг, из уличных сценок, услышанных разговоров и анекдотов.

В итоге возникло творение, быть может, бесформенное, которому не хватило дизайнерской заботы, но продуктивное и эффективное. Михаил Яковлевич предстает перед нами как личность, похожая на физиократов и энциклопедистов восемнадцатого века, которых, как известно, с особой охотой почитывали в Советском Союзе (в том числе и в ИФЛИ). Ведь Франсуа Кенэ или Адам Смит тоже мерились силами с задачей, за которую не отважился бы взяться никакой современный представитель общественных наук: с описанием всей «системы» в целом, всех тех экономических, налоговых и климатических зависимостей, которым подчинялся

современный им гражданин. С упорством бухгалтеров и запалом реформаторов они описывали красильни, улы, системы оросительных каналов, возделывание льна и работу литейных заводов, чтобы перейти затем к более общим и отвлеченным рассуждениям, касающимся климата, нрава и настроений повелителя или же научной системы правления.

Думаю, что Михаил Геллер, прочитав в вузе физиократов, делал, в сущности, похожие вещи: исходя из описания колхоза, комсомольской ячейки или Центрального комитета, он старался создать отображение того мира, в котором ему пришлось расти и жить. И когда после сорока лет перекачивания в голове разных фраз, препарирования очередных методологий или векторов реализации советской власти Михаил Яковлевич начал в Париже переносить на бумагу главный труд своей жизни, — он не собирался начинать работу с нуля, прокапываться сквозь тома исследований специалистов по Руссо и экспериментаторов из Стэнфорда. Это поймет каждый, кто хотя бы самым скромным образом балуется пером: нелегко переделать текст, писавшийся на протяжении недели, не говоря уже обо всей взрослой жизни.

Глядя на определенные недочеты в организации «Машины и винтиков»: возвращение сюжетных линий, произвольное классифицирование различных действий власти, смешение гетерогенной материи случаев из жизни, анекдотов и статистических ежегодников, — можно признать, что невозможно было в одиночку обуздать советского Моби Дика, охватить весь гигантский исторический, хозяйственно-экономический, психологический материал в одной работе. В этом смысле мы можем согласиться с тем, что даже такой историк, как Геллер, не в состоянии был отобразить своим пером всю махину коммунизма, охваченного — воспользуемся же метафорой и мы — процессом разрастания раковой опухоли, с гротескно разбухшими и выпирающими отовсюду пружинами, колесиками, шестеренками и винтиками, уже не подчиняющимися никакой рациональной логике, которая является уделом «нормального» государства и общества. Часовых дел мастер беспомощно стоял над будильником, пребывающим в состоянии вечной агонии.

Войцех Станиславский — историк и колумнист воскресного издания газеты «Жечпосполита».

-
1. Юзеф Чапский (1896–1993) — польский живописец и эссеист; в 1939–1941 гг. — узник советских лагерей («Старобельские

воспоминания», 1944), В 1941–1942 гг. состоял в Польской армии ген. В. Андерса в СССР, вел по его поручению поиски пропавших польских офицеров (см. отчет «На бесчеловечной земле», 1949), затем воевал во 2-м Польском корпусе, где возглавлял отдел пропаганды и информации. С 1945 г. — в Париже, соучредитель и постоянный автор парижской «Культуры». Прим. пер.

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Жизнь при демократии, возможно, и хлопотнее, чем в системах тоталитарного типа, но зато полна сюрпризов, а иногда — невероятных перипетий. Не соскучишься. Мы уже знаем, по более чем четвертьвековому опыту, что с расширением пространства свободы ослабевает ощущение безопасности, поскольку ничего не определено раз и навсегда, все может измениться, прихоть избирателей может вызвать неожиданные завихрения, приводя к тому, что представлявшееся устойчивым и, пусть иногда раздражающим, но предсказуемым, — вдруг поражает неожиданностью.

Так произошло и в результате нынешних президентских выборов в Польше. Хотя могло казаться, что у действующего президента победа в кармане, верх одержал кандидат, дотоле почти неизвестный обществу, Анджей Дуда, что принципиально поменяло всю польскую политическую сцену и стало анонсом возможных дальнейших изменений. Тем более что вдруг возникла новая политическая формация, лидер которой, популярный рок-музыкант Павел Кукиз, получивший свыше 20% голосов, хотя еще и не создал новую партию, но за эту потенциальную партию, как показывают опросы, хочет голосовать большая группа избирателей — столь многочисленная, что эта умозрительная партия занимает сейчас вторую после партии «Право и справедливость» позицию на политической сцене, выталкивая лидировавшую до недавнего времени «Гражданскую Платформу» на третье место.

Поэтому ничего удивительного, что большинство послевыборных комментариев в прессе посвящено именно этому феномену. Трезвую оценку случившемуся дает легендарный деятель героического периода «Солидарности» Владислав Фрасынюк в обширном интервью для газеты «Польша. The Times» (№ 147/2015), опубликованном под заголовком «Фрасынюк: Не останусь в стороне, по-прежнему буду огрызаться»: «Кукиз — это эмоции, опросы — это тоже эмоции. Перед вторым туром выборов я сказал, что Кукиз может войти в парламент с десятипроцентной поддержкой, и

это мнение сохраняю, при условии, что он серьезно примется за работу. Груз негативных эмоций в Польше гигантский. Политики старательно на это поработали, и в результате им удалось повернуться спиной к обществу. Политики решили, что не они для общества, а общество для них. Поэтому 50% граждан не ходят на выборы. Эти негативные эмоции разлились по Польше, Кукиз их прекрасно канализирует. Кукиз с очевидностью показал, сколь драматичные настроения царят в обществе. Но я далек от того, чтоб сказать о нем — «феномен». И уж точно никогда бы не сказал, что это надежда для польского общества. Это очередной гость, о котором все думают, что он спонтанный, аутентичный и что изменит действительность. Никто не спрашивает как. (...) Проблема в том, что если бы он получил эти 20% поддержки, то оказался бы серьезным кандидатом в премьеры, но его группировка еще не сказала, что намеревается делать с этой победой. (...) Когда я слушаю Павла Кукиза, у меня складывается впечатление, что мы не понимаем, что, руководствуясь одними лишь эмоциями или голосуя «смеху ради», выбираем субъекта еще более опасного, чем Ярослав Качинский. Некоторые из его интервью и кое-какие письменные заявления свидетельствуют о том, что его партия может быть так же агрессивна, опасна, как венгерская партия «Йоббик». Я не вижу в Кукизе ничего от рок-мена, напротив — вижу навязчивую персону, которая бегаёт в армейской футболке, через минуту окажется, что он не любит черных, желтых, немцев, русских, чехов и бог знает кого еще, потому что такие тексты у него уже проскальзывали. Скажу так: единственный персонаж, кто будет успеху Кукиза рад, это Ярослав Качинский, потому что на фоне Кукиза он предстанет оплотом разума».

Несколько иначе видит Кукиза неустанный в гальванизации левого движения Славомир Сераковский, который в статье «Бытие поглощает сознание», опубликованной на страницах «Политики» (№ 24/2015), пишет: «Откуда популярность Кукиза? (...) Кукиз нравился, потому что умел говорить с толпой. И был соответственно востребован. (...) Что бы Кукиз ни говорил, он кажется искренним, не вылепленным пиарщиками из пластилина. Кажется, что его не интересует собственная карьера. Но это не Кукиз привел к перелому. Он лишь очередной сезонный флаг тех, кому не за кого голосовать. (...) В опросах Кукиз поднялся вверх лишь за минуту перед подходом избирателя к урне. (...) Антипартия Кукиза противостоит всему политическому классу en bloc». Что ж, трудно это считать профессиональным анализом, а такого анализа требует факт объединения вокруг «антиполитической» позиции пятой части польских избирателей, которые, конечно, уже сыты по

горло необходимостью выбирать между «Правом и справедливостью» и «Гражданской платформой», тем более что ни одна из двух партий им не близка, хотя уже более десяти лет эти партии доминировали на политической арене и успешно поляризовали общество, разделив его либо на приверженцев власти, пускай даже и авторитарной, но твердой рукой устанавливающей в стране «покой и порядок» (что бы это ни означало), либо сторонников либерального правления, нацеленного на минимизацию присутствия государства в общественно-экономической жизни. При этом имеет смысл отметить, что разделение голосов за две эти партии создает на карте страны знаменательную картину: «Гражданская платформа» доминирует на территориях бывшего прусского захвата (периода разделов Польши) и на «постгерманских» землях, отошедших к Польше после Второй мировой войны, а «Право и справедливость» преимущественно поддерживают на территориях бывшего российского захвата, цивилизационно отставших от Европы, что видно хотя бы по менее густой сети железных дорог.

А вот обложка последнего выпуска еженедельника «До жечи» (№ 25/2015) соблазняет читателя аншлагом «Загадка Кукиза», что примечательно, ибо сам герой — весьма лакомый кусок для «Права и справедливости» (а еженедельник представляется секундантом этой партии). В статье «Окрыленная «ПиС» поглядывает на Кукиза» Петр Семка подчеркивает: «Ни один политик «ПиС» вслух не признается, но без голосов, отданных за Павла Кукиза в первом туре и без поддержки «кукизистами» Анджея Дуды во втором туре не было бы великой победы «Права и справедливости». (...) Политики «ПиС» по-разному реагируют на искушение завести роман с Кукизом. (...) Председатель [Ярослав Качинский] еще перед первым туром поздравил Кукиза с его успехом в опросах. Защищал также право рок-мена использовать в клипе фигуру маршала Пилсудского. (...) Самую большую проблему в поисках идейной и программной сопряженности между этими группировками составляет то, что у движения Кукиза пока нет программы. (...) Сторонники Кукиза знают, что именно им не по вкусу в Польше Эвы Копач, но им трудно ответить на вопрос, как будет выглядеть новый, лучший мир. В одном движении, вокруг одного лидера собираются очень разные люди. (...) Многие из молодых сторонников Кукиза — это люди, которые не стыдятся патриотизма. (...) Ярослав Качинский, похоже, понимает, что популярность движения Кукиза проистекает из реальных проблем. Это, однако же, движение хаотичное, подчас самонадеянно убежденное в своей мессианской силе, которая изменит польскую политику. Подобно многим предыдущим

политическим дилетантам, «кукизисты» полагают, что изменения — это просто, а новую конституцию получится написать за неделю-другую. При вопросе о будущих коалициях в Сейме они уходят от ответа, заявляя, что борются за достижение самостоятельного большинства, чтобы обойтись без коалиций. Это ловкая увертка, но лишь увертка. Опросы не дают им шанса на такой успех. В их высказываниях нет также понимания того, что для реализации лозунга смены конституции потребуются филигранная работа и коалиционное сотрудничество. (...) Пока Кукиз забирал голоса у «Платформы», партия Ярослава Качинского смотрела на «внесистемников» весьма доброжелательно. Когда, однако, во время избирательной кампании Кукиз начнет переманивать избирателей «ПиС», деятели обеих партий могут начать против него бои без правил. Тогда «кукизисты» вспомнят, что «Платформа» и «ПиС» — «одно зло». (...) Многих искушенных в парламентской работе политиков «ПиС» может раздражать непрофессионализм представителей нового движения. Тем более что после многих лет политического прозябания в оппозиции представители «ПиС» почувяли, наконец, запах власти. Как справится Ярослав Качинский с новым персонажем политической сцены?»

Это хороший вопрос. Единственный четкий лозунг Кукиза — требование ввести одномандатные избирательные округа, для чего необходимо изменить конституцию, получив в Сейме большинство в 2/3 голосов. Качинский также стремится изменить конституцию, но не для того, чтобы ввести новый порядок выборов. Если бы поддержка нового движения сохранилась на существующем уровне, то тогда вместе с «ПиС» можно было бы получить в Сейме надежное конституционное большинство. Но дело в том, что до сих пор партия Качинского была однозначно против этих одномандатных округов. А тем временем один из связанных с Кукизом деятелей, президент Любина Роберт Рачинский в интервью под заголовком «Мы сметем политиков», опубликованном в газете «Тыгодник повшехны» (№ 24/2015) подчеркивает, что его партия не намеревается вступать в связи с действующими ныне политиками: «Мы совершенно не заинтересованы политиками с Вейской [улицы, где расположено здание Сейма]. Если бы мы захотели их привлечь, то утратили бы доверие. А доверие — понятие для нас ключевое. Мы всё выстраиваем вокруг Кукиза и вокруг его стремления к подлинным переменам. Этого не сделать, показывая старые лица». Ба! А что означают эти «подлинные перемены»? Рачинский отвечает лапидарно: «Люди хотят революции. Это может быть снежный ком». На вопрос, по левому или по правому флангу политической сцены

он себя позиционирует, Рачинский говорит: «Мы не признаем этого разделения, идущего с XIX века. Это полностью оторвано от действительности — как, впрочем, часто в политике». Однако же движение Кукиза пользуется цивилизационными достижениями: «Всё Движение Кукиза — это движение в интернете. Люди не были знакомы друг с другом, получали баннеры, образцы листовок. Старые партии совершенно не заметили новой действительности, разворачивающейся вне телевидения, в котором существует их мир. (...) Людей не удастся просветить целиком и полностью. Ошибки будут. Но сила революции не угаснет из-за того, что в Сейм может попасть несколько случайных людей».

Давненько не было революции. Может, уже и пора... Говорят, что революции вспыхивают не тогда, когда очень плохо, а тогда, когда начинает становиться лучше. Польша после четверти века независимого бытия осуществила громадный цивилизационный скачок. Для молодых, вступающих в жизнь, период коммунизма перестал быть точкой отсчета. Нынешняя действительность воспринимается как нечто очевидное, молодежь концентрируется на недостатках существующего положения вещей. Страна стала настолько зажиточной, что трудно говорить о нищете (разве что о существующих по всему миру областях бедности), но и не настолько богатой, чтобы соответствовать растущим ожиданиям молодых. Это неплохой исходный пункт для деятельности «бунтующих», для который «партократия» стала фактором, блокирующим их надежды и тормозящим создание гражданского государства, дающего чувство субъектности. Конечно, этого недостаточно, чтобы на такой основе создать общую программу, но довольно для того, чтобы вызвать замешательство на политической арене. И это уже весьма серьезный сигнал для всех, кто занимается политикой. Определенно лишь одно: демократия, даже с теми слабостями, которые ее характеризуют, позволяет артикулировать, пусть и не совсем отчетливо, протест против существующего положения вещей.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Адаму Загаевскому, одному из крупнейших современных поэтов и эссеистов, многие годы называемому кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, 21 июня исполнилось 70 лет. Краков, славный замечательными празднованиями юбилеев, не мог пропустить такого случая! Издательство «а5» подготовило торжественный вечер в прекрасном здании Центра японского искусства и техники «Манггха», расположенном на берегу Вислы, с видом на Вавель. На сцену вышли друзья Загаевского, поэты и переводчики: Андерш Бодегард, Януш Джевуцкий, Эдвард Хирш, Себастьян Кляйншмидт, Рышард Крыницкий, Ежи Кронхольд, Михаэль Крюгер, Эва Липская, Лешек Александр Мочульский, Томаш Ружицкий — и прочли посвященные юбиляру стихи.

С речью в честь автора «Солидарности и одиночества» выступил Адам Михник, сказавший в частности: «Хорошо, когда в твоей жизни есть писатель, произведения которого учат, открывают глаза, заставляют идти на конфронтацию с собственным мышлением, укрепляют в вере, возвращают надежду. В моей жизни всегда было несколько таких писателей. Такими были для меня Чеслав Милош и Лешек Колаковский, Збигнев Херберт и Антоний Слонимский, Вацлав Гавел и Станислав Баранчак, Юзеф Чапский, Хана Арендт, Джордж Оруэлл. Таким писателем всегда был для меня и Адам Загаевский. Он говорит правду. Открывает красоту. Вслед за Конрадом выносит приговор видимому миру. Вслед за Прустом учит, как можно любить память о вкусе печенья».

Состоялся также показ основанного в основном на архивных фотографий фильма об Адаме Загаевском, созданного Иоанной Хеландер и Бо Персоном, живущими в Швеции. Затем был семейный прием, клубничный торт и эффектный фейерверк в излучине Вислы (последний в связи с проходящим краковским музыкальным праздником «Венки»).

В интервью для агентства ПАП поэт и литературный критик Януш Джевуцкий, многолетний поклонник творчества Загаевского, сказал: «Он по-прежнему молодой поэт, увлекающий своей жизненной энергией и энтузиазмом в отношении к миру. В поэзии и эссе Загаевского прекрасно то, что он умеет описать мир в целом и деталях, умеет одновременно синтезировать и анализировать. Удивительно,

как сильно его творчество может разбередить наши чувства. Я обожаю цвета, запахи и звуки в его творчестве».

Трудно сказать лучше. Присоединяемся с самыми добрыми пожеланиями. *Ad multos annos!*

Ко дню рождения поэта в издательстве «а5» вышла книга «и тень и свет...» — двуязычная (польско-английская) антология текстов, посвященных творчеству Загаевского. В нее включено более 20 текстов авторов разных национальностей и разных поколений, объединенных увлеченностью Загаевским. Наряду с зарубежными авторами такого ранга, как Сьюзен Зонтаг или Дерек Уолкотт (нобелевский лауреат 1992 года), широко представлены также польские критики, в частности Барбара Торунчик, Тадеуш Соболевский, Ярослав Клейноцкий.

Лауреатами вроцлавской литературной премии «Силезиус» стали в нынешнем году Марцин Сендецкий (за «Книгу года» — «Предварительная смета») и Михал Ксёнжек (в категории «Дебют года», за сборник «Наука о птицах»). Яцеку Посядло присуждена премия за совокупность творчества. Председатель жюри «Силезиуса» профессор Яцек Лукасевич подчеркнул, что поэзия Яцека Посядло выражает бунт конца 80-х годов и «одновременно это поэзия, исполненная нежностью, чувствительностью и грустью».

Премия присуждалась уже в восьмой раз.

В середине июня в Варшаве в третий раз проводился «Big Book Festival» — «Большой фестиваль чтения», мероприятие международного масштаба. Территория бывшего сырзавода в самом центре Варшавы стала местом встреч, дискуссий, творческих мастерских, променадов, выставок, художественных акций. Среди почти ста зарубежных гостей из десятка с лишним стран были, в частности, белорусская писательница Светлана Алексиевич, англичанка Софи Ханна, которую называют современной Агатой Кристи, еще одна британская гостья — Зэди Смит, регулярно издаваемый в Польше Владимир Сорокин (изданы, в частности, его «Лед», «Очередь», «Сахарный Кремль»). С читателями встречались также польские писатели — Анна Янко, Магдалена Тулли, Артур Домославский, Якуб Жульчик, Иоанна Батор и другие. Томаш Лубенский, свидетель Второй мировой войны, и репортер Магдалена Гжебалковская, автор недавно вышедшей книги «1945. Война и мир», сравнивали воспоминания и рассказы о событиях 1945 года. Дискуссии касались также текущих политических событий — войны в Сирии и на Украине. Шутки и взрывы смеха сопровождали дискуссию «Встретились поляк,

русский и немец. Против стереотипов», в ходе которой Владимир Сорокин, Януш Леон Вишневский и Борис Райтшустер рассказывали о собственном опыте и вспоминали всякие забавные истории, помогающие понять современную Россию.

«Big Book Festival» — это единственный международный фестиваль литературы в Варшаве. Его организаторы — Анна Круль и Паулина Вильк из фонда «Культура не болеет».

Пользуясь пребыванием Светланы Алексиевич на «Big Book Festival», Третья программа Польского радио взяла у нее интервью. С. Алексиевич, двукратный лауреат премии имени Рышарда Капуцинского (за книги «У войны не женское лицо» и «Время секонд хэнд. Конец красного человека»), в частности, сказала: «Я ищу человека опытного, который задумывается над смыслом жизни, трактует ее как тайну, познал любовь и смерть. Мы разговариваем о жизни как соседи по времени».

Белорусская писательница и журналистка полагает, что Советский Союз всегда был страной закрытой, которая вела войны и в которой люди ощущали страх: «Все началось еще во времена Сталина. Кухня тогда была единственным местом, где собирались люди. Здесь можно было открыто говорить. Это было единственное место, где говорили искренне, и откуда брали начало все революции».

Во времена Бориса Ельцина и при раннем правлении Владимира Путина можно было говорить почти обо всем. Сейчас, как подчеркивает писательница, открыто выражать собственное мнение небезопасно, потому что за каждым шагом гражданина следят.

— Мы все вернулись на кухню, — сказала Алексиевич.

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус и поэт Томас Венцлова стали лауреатами премий «Форума диалога и сотрудничества Польша–Литва». Торжественная церемония вручения премий прошло 11 июня в Королевских Лазенках в Варшаве. Томас Венцлова (р. 1937, Клайпеда) — выдающийся литовский поэт, эссеист, переводчик и литературовед, профессор Йельского университета в США, многие годы связан с польской культурой и литературой. Он переводил на литовский язык, например, Циприана Камиля Норвида, Чеслава Милоша, Збигнева Херберта, Виславу Шимборскую, ему принадлежит монография об Александре Вате.

В произнесенной в Лазенках официальной речи Адам Загаевский назвал Венцлову поэтом, ищущим справедливость, приверженцем единства народов Европы. Загаевский также сказал: «В личности и деятельности Томаса Венцловы есть нечто (рискну употребить такое определение) старомодное. И я сразу должен сказать, что полагаю это огромным комплиментом. Творчество Томаса зарождалось во времена советского тоталитаризма; молодой поэт и эссеист быстро определил свое место — в оппозиции к диктатуре и, как мы хорошо знаем, сохранил верность этому выбору. В его статьях и очерках, затрагивающих исторические или историко-политические вопросы, ясно просматривается антишовинистическая позиция. Томас Венцлова никогда не станет защищать литовцев лишь потому, что сам литовец, или нападать, скажем, на лилипутов только потому, что они лилипуты, а он нет. Он из людей, которые ищут справедливость, правду. И не отворачиваются от правды — пусть даже горькой. Он не прибегает к исторической политике — этому макияжу для рябой физиономии, который имеется у каждого сообщества, ибо лишь безупречное ангельское воинство — это сообщество с абсолютно чистой совестью.

Войцех Ягельский (р. 1960), журналист, публицист, военный корреспондент, писатель, получил 1 июня премию ПЕН-клуба имени Ксаверия и Мечислава Прушинских, присуждаемую за литературный репортаж и эссеистику. Ягельский занимается преимущественно проблемами Африки, Центральной Азии, Кавказа и Закавказья. Ему принадлежат такие, в частности, книги, как «Хорошее место, чтобы умереть», «Молитва о дожде», «Башни из камня», «Ночные странники», «Выжигание трав», «Трубач из Тембисы».

Эва Винницкая стала лауреатом «Грифий», общепольской литературной премии для женщин-литераторов. Основала премию (денежная составляющая 50 тыс. злотых) газета «Курьер щецинский». Премия присуждена за репортерскую книгу «Англичане», ранее выдвигавшуюся на премию имени Рышарда Капуцинского за литературный репортаж (2014). Ивонна Смолька, член жюри, тогда писала: «Уборщица, водитель автобуса, директор, врач, сортировщик мусора и десятки других поляков, которые приехали на Британские острова в Англию, — вот герои 34-х коротких репортажей. Это книга, прежде всего, о том, как поляки воспринимают англичан, как ищут свое место в классовом обществе, как изменяется их сознание. Читая, мы улыбаемся, удивляемся, сочувствуем, часто поражаемся смелости и находчивости. Эти репортажи не могут оставить равнодушным».

В Национальном музее в Варшаве открыта выставка под названием «Папа римский авангарда. Тадеуш Пейпер в Испании, Польше, Европе», которая приближает нас малоизвестные мадридские страницы жизни этого выдающегося авангардистского поэта и показывает связи между литературой и изобразительным искусством XX века. Наряду с творчеством самого Пейпера, автора программы краковского авангарда, в том числе известного манифеста «Город. Масса. Машина» 1922 года, основателя и редактора журнала «Стрелка. Направление: искусство современности», представлены работы Роберта Делоне, Хуана Гриса, Фернана Леже, Казимира Малевича, Юзефа Панкевича, Моисея Кислинга, Вацлава Завадовского, Леона Хвистека, Генрика Стажевского — всего 270 экспонатов. Сам Пейпер никогда не создал ни одной картины или скульптуры, но вдохновил многих художников.

Куратор выставки Петр Рыпсон в одном из интервью напомнил: «Пейпер приехал из Испании в начале 1921 года, совершенно никому не известный, и в течение нескольких месяцев стал одной из главных фигур краковско-варшавского круга футуристов и «формистов». Пейперу удалось сплотить всех футуристов и «формистов» вокруг своего издательского начинания. Название журнала «Стрелка» оказалось весьма знаменательным, потому что в течение полутора лет Пейпер действительно сменил направление поисков современной ему художественной среды с анархичного футуризма и «формизма» в сторону конструктивизма».

Дорота Ярецкая в рецензии, опубликованной в «Газете wyborчей» написала, что на выставке ей все нравится, кроме названия: «Критичная ирония этой формулировки улетучивается. Неотвратно встает вопрос: да, папа был великим поляком, но значит ли это, что любой великий поляк сразу должен быть папой?»

Экспозиция открыта до 6 сентября 2015 года.

Очередная выставка в варшавском Национальном музее — «Шедевры японского искусства из польских собраний». На ней можно увидеть свыше 300 произведений японского искусства с XVII по XX век. Среди них гравюры и живописные работы, а также буддистская скульптура XVIII века и много предметов художественного ремесла, в том числе эмали, изделия из металла, фаянс и фарфор. Представлены миниатюрные скульптуры из кости и дерева, милитарика и лаковые работы — подносы, сосуды для пищи, шкатулки для каллиграфических инструментов.

Экспонаты принадлежат в основном коллекциям Национального музея в Варшаве и Национального музея в Кракове, которые располагают самыми крупными в Польше собраниями японского искусства. Показаны также произведения из Национального музея в Познани, Национального музея во Вроцлаве и Музея-дворца Яна III Собеского в Вилианове.

Выставка открыта в Варшаве до 9 сентября 2015 года, после чего будет показана в Окружном музее в Торуни, а затем — в Национальном музее во Вроцлаве.

В июне пал рекорд аукциона «Polswiss Art» в Варшаве. Картина Яцека Мальчевского «Урок истории» была приобретена на торгах за 1,65 млн злотых. Частному коллекционеру пришлось еще доплатить 15-процентный аукционный сбор, то есть картина была продана более чем за 2 млн. Работа, написанная в 1916 году, представляет сцену, подмеченную художником в имении на Украине; три юных сестры из аристократического семейства Ледуховских заслушались романом о прежних поколениях. Безусловно, это роман патриотический.

Камня на камне от вкуса польских коллекционеров искусства и художественных предпочтений богачей не оставил в связи с этим Петр Сажинский из «Политики». Он назвал картину невыносимо патетичной и добавил: «Богатые коллекционеры в массе своей по-прежнему набрасываются, как лев на антилопу, на живопись патриотически-сентиментального толка. Кони, подворья, реалистически исполненные усадебные сцены, леденящие кровь погони волков за санями, чуть-чуть наготы — вот мотивы, которые могут рассчитывать на стопроцентный интерес. Особенно если картины подписаны фамилиями польских авторов, имеющих за собой хорошую школу реализма, пройденную в мюнхенской или петербургской академиях. (...) Сегодня все крупнейшие коллекционеры мира солидарно и последовательно игнорируют академическое искусство XIX века как проявление дурного вкуса. У нас же все наоборот. Изменится ли это когда-нибудь? Я уже смею сомневаться».

На площади Свободы в Лодзи открыта мемориальная доска в честь Зофьи Херц (1910–2003), одной из организаторов издательства «Институт литературы», ближайшей сотрудницы Ежи Гедройца — редактора парижской «Культуры». Памятный знак размещен на доме, в котором Зофья Херц работала в 1929–1938 годах в должности референта нотариальной конторы Аполлинария Карнавальского. 13 мая 1933 года она сдала экзамен на звание нотариуса, став первой женщиной-

нотариусом в Лодзи. Создание мемориальной доски финансировала Лодзинская нотариальная палата.

Прощания

24 мая в Варшаве умер Кшиштоф Конколевский, выдающийся мастер польского репортажа, автор романов, рассказов и афоризмов. Конколевский издал 38 книг общим тиражом свыше 1,5 млн экземпляров. Выпускник факультета журналистики Варшавского университета, затем преподаватель, он создал «школу репортажа» на Курсах журналистики Варшавского университета, а затем в Институте журналистики. Наиболее известные книги Конколевского — это «Как умирают бессмертные», хроника жуткого убийства, совершенного в Калифорнии сектой Чарльза Мэнсона, «Что о вас слышно?», подборка бесед с немецкими военными преступниками, и «Ванькович укрепляет». Роман «Преступник, который украл преступление» экранизировал Януш Маевский (1969, среди актеров Зигмунт Хюбнер и Барбара Брыльская). Знаменитому репортеру было 85 лет.

4 июня в возрасте 87 лет в Майнце в Германии умер Курт Вебер, кинооператор, которого считают одним из создателей польской школы кинематографа. Он снял такие фильмы, как «База мертвых людей», «Сальто», «Квартирант», «Контора». Выпускник Лодзинской киношколы, позже — профессор и декан операторского факультета. На конец 50-х и середину 60-х годов приходится наиболее творчески успешный период работы Курта Вебера. В 1969 году, после антисемитской компании, последовавшей за мартовскими событиями, Курт Вебер эмигрировал в Федеративную Республику Германии, где преподавал и работал оператором.

12 июня в Закопане в возрасте 92 лет скончалась Эвелина Пенкса. Она входила в число наиболее известных и популярных в Польше художников-витражистов. В ее творчестве, основанном на традициях народного искусства Подгалья, старинные каноны сопрягались с новыми формами и тематикой. В 2008 году была награждена Золотой медалью «За заслуги перед культурой Gloria Artis».

Умер профессор Рене Сликовский. Проф. Сликовский родился 2 февраля 1930 г. во Франции, в семье эмигрантов, которые после Второй мировой войны вернулись вместе с детьми в Польшу. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. С 1954 г. был тесно связан с Варшавским университетом, в 1988 г. получил звание профессора гуманитарных наук.

Был знатоком русского театра, а также творчества Чехова, Андрея Платонова, Федора Соллогуба, переводчиком и популяризатором их произведений, замечательным дидактиком, легендой варшавской русистики, теплым, доброжелательным и наделенным прекрасным чувством юмора человеком.

Опубликовал, в частности, биографию Чехова, был составителем многих антологий русской прозы XIX и XX вв. (в т.ч. «Антологии старой русской новеллы»), автором очерков о советской литературе, написал также книгу, посвященную истории русской драматургии второй половины XIX века. Вместе с женой, Викторией Сливовской (выдающимся историком, специалистом по истории России XIX в.), написал монографические труды об Александре Герцене и Андрее Платонове. В 2008 г. они опубликовали свои совместные воспоминания «Россия — наша любовь» (см. «Новая Польша», №5/2011). Сливовские дружили с известнейшими русскими писателями, критиками и историками: Натаном Эйдельманом, Юлианом Оксманом, Станиславом Рассадиным, Юрием Лотманом, Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским.

Рене Сливовский умер 23 июня 2015 г. Он был атеистом. Согласно его воле, семья передала его останки Медицинской академии «на благо приходящей в упадок науки».

ПАРАДОКСЫ ВОСПРИЯТИЯ, ИЛИ НЕВИДИМЫЙ ХОЛОКОСТ

Книга Гжегожа Низёлека «Польский театр Уничтожения» — это новый взгляд на историю польского театра. Анализируя целый ряд знаменитых спектаклей, посвященных трагедии еврейского народа во время Второй мировой войны, Низёлек показывает, что несмотря на то, что тема эта звучала в театре довольно громко, зрители и критики умудрились ее не заметить. Холокост успешно вытиснялся на периферии общественного сознания. Критическому переосмыслению автор подвергает своеобразную игру, ведущуюся в рамках театра и шире — в общественном сознании по отношению к Холокосту. Игра памяти и забвения, знания и незнания. Игра защитных механизмов и шока, который вызывает их преодоление. Низёлек пересматривает распространенное суждение, «что с перспективы польской культуры плохо видно Холокост», и выдвигает дискуссионный тезис о том, что самые выдающиеся явления польского послевоенного театра возникли в результате этой «слепоты». Монография показывает, как театр Уничтожения воздействовал на польских режиссеров, как эта болезненная тема потребовала изменения театрального языка и стала источником новаторских решений.

Анализируя собранный материал, Низёлек использует психоанализ и другие методы современной гуманитарной науки, например, исследования пост-памяти.

Автор признается, что во время изучения материала, связанного с уничтожением евреев во время Второй мировой войны, ему часто приходилось сталкиваться с произведениями и текстами на эту тему, в которых то, что произошло, вообще не получало какого-либо конкретного наименования, т.е. оставалось безымянным, неназванным и именно благодаря этому воздействовало сильнее и болезней. Тем не менее, в своей книге ему пришлось сделать выбор. Анализируя термины Холокост, Катастрофа, Истребление, Уничтожение, Шоа, указывая на идеологические, этические и эмоциональные манипуляции, связанные с ними, Низёлек употребляет их все, но в заглавии своей книги выносит Уничтожение, хотя, как пишет, внутренний бунт вызывает в нем и пафос заглавной буквы, и эффектная недомолвка (отсутствие дополнения,

отвечающего на вопрос: кого?), и весь возвышенный тон, словно бы отрицающий реальность событий. Однако это определение для целей его книги оказывается более приемлемым, чем, например, Холокост или Шоа — создающие некую пустоту восприятия и парализующие эмпатию своим иностранным звучанием и непрозрачной этимологией.

Именно эмпатия или, скорее ее отсутствие, становится главной темой первой части книги, озаглавленной «Уничтожение и театр» и посвященной «зрелищу Уничтожения». Как пишет исследователь: «Самое важное — это попытка осознать, что все это — было видно, что это случилось на самом деле и все видели хотя бы фрагмент того, что произошло». Низёлек анализирует произошедшее в категориях зрелища, своеобразного театра действительности, не только потому, что театральные метафоры близки теме Уничтожения, но и потому, что об этом вообще невозможно рассказать без таких понятий как жертва, трагедия, маска, роль, игра, кулисы.

Механизм слепоты на Холокост, в сущности, прост: сразу после войны распространяется мнение, что общество не готово к тому, чтобы принять всю правду об Уничтожении, что нужно дать ему время, чтобы оно дозрело до конфронтации, а пока достаточно будет более мягкой, подретушированной картины того, что произошло. Как развиваются события дальше? Спустя несколько лет тема возвращается, но появляется аргумент — это уже прошлое, нужно жить дальше, сколько можно заниматься военными травмами? В начале 60-х годов такой голос звучал невероятно сильно. Слышен он и теперь. Нет подходящего времени, чтобы говорить о Катастрофе.

После антисемитской кампании 1968 года, в ходе которой польские евреи были объявлены Гомулкой «пятой колонной» израильского сионизма и были вынуждены массово эмигрировать, еврейский вопрос стал в Польше вопросом неудобным и болезненным, а тема Катастрофы стыдливо замалчивалась. Выросло целое поколение, которое не знало, чем были концентрационные лагеря на самом деле. Сегодня в Польше, после книг Гросса и многочисленных публичных дебатов на тему польско-еврейских отношений, целого ряда спектаклей и фильмов, поднимающих эту тему (с недавней оscarоносной «Идой»), книга Незёлека, касающаяся принципиальных вопросов польской идентичности и процессов, происходящих в сознании поляков, является и логическим последствием проделанной обществом очистительной работы, и очередным шагом к правде и

очищению. И в этом смысле эта книга вовсе не об истории театра, но о проявляющихся в театре глубоких процессах, происходящих в польской культуре.

Грегож Низёлек ставит в ней один весьма неприятный для польской культуры вопрос: не стал ли сформированный под крылом романтизма и пропитанный романтическим пафосом театр одним из орудий внедрения в общественное сознание защитных стратегий по отношению к опыту Уничтожения? Означает ли это, что участвующий в идеологических проектах эпохи театр поспособствовал вытеснению болезненного прошлого? Сознательно ли он «ослеп» на Катастрофу? Чтобы понять, каким образом театр, чьи метафоры так близки теме Уничтожения, мог «ослепнуть» на нее, Низёлек воспользовался доводами Зигмунта Баумана, который в своей фундаментальной работе «Актуальность Холокоста» предложил радикально изменить перспективу взгляда на Холокост, представляя его стандартным производственным процессом эпохи модерна. Бауман писал, что Катастрофа не была поражением социальных проектов модернизации, но их интегральной частью, что она — на уровне образцов функциональности и продуктивности — напрямую связана с идеологией современности. Следуя за мыслью Баумана, Низёлек пишет прямо, что Уничтожение нельзя воспринимать как некую дыру, пустоту, перерыв в культуре, но как интегральную часть этой культуры.

Вторая часть книги, значительно более обширная (почти в четыре раза больше, чем первая), озаглавлена «Театр и Уничтожение». Поменяв местами понятия, Низёлек концентрируется на том, как театр реагировал на тему Катастрофы, ищет спектакли, которые занимаются этой темой, исследует реакции зрителей и рецензентов. И то, что он находит, шокирует. Низёлек показывает, что в польском театре на тему Уничтожения было сказано гораздо больше, чем публика и критика были в состоянии понять и услышать. Самые известные польские режиссеры с мировыми именами — Кантор и Гротовский, самые значительные фигуры польского театра — Шиллер, Аксер, Бардини вплотную занимались этой темой. Да, часть этих спектаклей быстро сошла с афиш, не вызвала резонанса в прессе, была выпихнута на обочину театральной жизни, но оказалось (вдруг!), что Уничтожению евреев посвящены такие шедевры польского театра как «Умерший класс» Кантора и «Акрополь» Гротовского, но — что удивительнее всего — на протяжении почти полувека об этом вообще не говорилось, попытки выяснить, о чем же эти спектакли, сводились к общей, банальной, почти школьной

формулировке «об ужасах войны». Проходящая красной нитью сквозь историю польского театра тема Уничтожения оставалась при этом невидимой, неназванной.

В этом смысле книга Низёлека — о парадоксах зрительского восприятия и механизмах памяти. «Я не люблю, когда в обществе возвращаются люди, пережившие трагедию», — говорит один из героев «Пробы сил», соцреалистической пьесы с криминальным сюжетом, разыгрывающейся в среде врачей, которую в 1951 г. поставил Александр Бардини. Приятное времяпрепровождение портит Мейселс, еврей с ярко выраженным посттравматическим синдромом. Это высказывание в некотором смысле отражает квинтэссенцию описанного Низёлеком механизма вытеснения памяти и знаний об Уничтожении. Но избегать темы — это одна стратегия, не видеть того, что явно — другая.

Немногочисленные попытки коснуться темы Катастрофы быстро забывались, можно сказать, вытеснялись из памяти. Например, первым послевоенным спектаклем Леона Шиллера, режиссера, бывшего до войны гордостью польского театра, была «Пасха» Отвиновского, напрямую поднимающая тему Катастрофы. Спектакль прошел незамеченным и был быстро забыт.

Анализируя «Пустое поле» Юзефа Шайны и спектакль Ежи Аксера по пьесе Петера Вайса «Дознание», Низёлек показывает, что отсутствие темы Уничтожения в польском послевоенном театре — отсутствие мнимое, а то, что замалчивалось — так же важно, как то, о чем говорилось. Анализируя польскую послевоенную театральную жизнь — от Шиллера через Кантора и Гротовского до Варликовского — исследователь концентрирует свое внимание на пространстве «вытеснения» Уничтожения, на «территории непамяти», пытаясь при этом не только реконструировать спектакли, но и проследить, как протекали творческие процессы, что вдохновляло режиссеров, а также — и это самое интересное — анализирует, как воспринимались такие спектакли. Сопоставляя друг с другом разные документы (литературные тексты, письма, высказывания, рецензии, воспоминания, фотографии), исследователь открывает то, что невидимо, незаметно, вытеснено в сферу подсознания — воспоминания создателей спектаклей и зрителей, чувство вины, скрытого антисемитизма, чувство отсутствия и пустоты.

Спектакли, которые Низёлек ре-интерпретирует в своей книге, не всегда маргинальны, среди них такая классика польского театра, как «Акрополь» Ежи Гротовского и «Умерший класс»

Тадеуша Кантора. Автор делает для себя и для нас, читателей, целый ряд открытий. Например, что знаменитый спектакль «Акрополь» Гротовского по пьесе Выспянского, сценографию и костюмы для которого создал Юзеф Шайна, узник Освенцима и Бухенвальда, рассказывает не о гибели цивилизации в универсальном концентрационном лагере, а о массовом уничтожении евреев в лагере смерти, что весь спектакль пропитан еврейскими мотивами, и, хотя звучат они странно, апеллируя скорее к подсознанию, чем к сознанию, то все же вполне читабельны.

Низёлек описывает механизм маргинализации спектаклей, поднимающих тему Истребления, основанный кроме всего прочего еще и на том, что некоторые вопросы в то время вообще не ставились. Рецензенты не видели ни темы, ни проблемы. Были на то идеологические и цензурные соображения, но, возможно, свою роль сыграло и сопротивление зрительного зала. Сопротивление, которое не позволяло понять и увидеть то, о чем шла речь со сцены.

В качестве примера такого непонимания, даже некоего недоразумения в восприятии спектакля, Низёлек приводит ранний Канторовский спектакль по пьесе Виткацкого «Красотки и мартышки», где довольно бесцеремонное отношение к публике истолковывалось в духе авангардного эксперимента, не замечая жесткой игры режиссера с пространством лагеря смерти. Спектакль начинался в фойе, где грубые гардеробщицы, не церемонясь, отбирали у зрителей пальто, металлический голос из громкоговорителя информировал, что «главная и основная обязанность зрителя — сдать в гардероб верхнюю одежду». Потом происходило нечто вроде селекции: группу зрителей, предназначенных на роли сорока Мандельбаумов, отделяли от остальных, одевали в еврейские халаты, раздавали им накладные бороды, гоняли по сцене, толкали и погоняли, ими дирижировали, их дрессировали и закрывали в отдельном секторе. Остальных задерживали в проходе, ведущем в помещение, куда вход запрещен. Кантор подводил зрителя к самому порогу машины смерти, машины Истребления, а публика, столпившись у входа в газовую камеру, не чувствовала ни малейшего дискомфорта даже тогда, когда часть зрителей отделили от основной массы и переодели в еврейские одежды.

В документальном фильме об этом спектакле и английской кинохронике видно, как смеющиеся зрители радостно включаются в предложенную игру и с удовольствием развлекаются. Реакция критиков и зрителей на эти действия с сегодняшней перспективы поражает. В рецензиях нет даже

упоминания об Уничтожении, практически все описывали представление как авангардное прочтение пьесы Виткацкого. И лишь в фельетоне Артура Сандауэра появляются какие-то намеки на понимание того, о чем на самом деле этот спектакль. Впрочем, Сандауэр ничего не говорит прямо, он лишь пишет, что образ человека в этом спектакле ужасающий, а опыты, которые Кантор проводит на героях и зрителях, невероятно жестокие. Вопрос – почему никто этого не заметил? Не видел, не чувствовал?

Нет никаких сомнений, что эти люди не понимали, в чем участвовали. И, несомненно, Кантор, апеллируя к бессознательному, хотел, чтобы они не понимали. Низёлек далек от того, чтобы обвинить зрительный зал в сознательном уходе от понимания. Зритель был не в состоянии охватить спектакль целиком, сделать однозначные выводы — и это, конечно, сознательная стратегия Кантора. Похоже, что он специально затруднял непосредственное восприятие поднятой темы, целенаправленно строил спектакль так, чтобы пространство Катастрофы было, с одной стороны, очевидно, с другой же, — воздействовало на подсознательном уровне.

Спектакли Гротовского и Кантора не поддаются однозначной интерпретации, по мнению Гжегожа Низёлека, эти помехи в восприятии, препятствия — эта сознательно мутная стратегия репрезентации — связаны с опытом Катастрофы, с огромным табу в общественном сознании. Публика поставлена в ситуацию, когда ей приходится столкнуться с чем-то, что, по словам Низёлека, находится «вне зоны комфорта». Зритель вынужден переживать шок, некое эмоциональное и интеллектуальное потрясение.

Таким образом конфронтация с темой Катастрофы повлияла на театральный язык. Театр реагирует на эту тему более сложным, чем простое реалистическое воссоздание фактов, менее очевидным способом. У этих спектаклей есть еще одна общая черта, кроме темы, к которой они обращаются, — все они содержат формальные новаторские приемы — кардинально меняют отношения зрителя и актера или иначе конструируют присутствие актера на сцене. Неслучайно ведь идею «убогого театра» Гротовский формулирует во время работы над «Акрополем», а концепцию Театра смерти Кантор формулирует при подготовке «Умершего класса», т.е. две самые радикальные театральные идеи, пересматривающие роль и позицию зрителя в театре, преодолевающие общепринятую эстетику, кристаллизировались во время работы над

спектаклями, которые сложно понять без контекста Катастрофы, что, конечно же, не случайно.

История польского театра Уничтожения заканчивается рассказом о том, как после многих лет цензуры, после вытеснения этой темы из публичного дискурса и собственного сознания, наступает взрыв памяти и восполнения белых пятен, но процесс изживания травмы по-прежнему протекает болезненно. В этом смысле особенно показательны спектакли Варликовского, отсылающие к классическому механизму травмы, которая всегда разрушительна и деструктивна, всегда проявляется не вовремя и для изживания которой никогда нет подходящего времени.

*

Книга Гжегожа Низелока это, с одной стороны, своеобразная история польского театра после 1945 года (от «Пасхи» Шиллера до «(А)поллонии» Варликовского), ответ на вопрос, как тема Холокоста отразилась в театре, с другой же — это некая попытка переосмыслить театральные и культурные события, реинтерпретировать опыт и художественные стратегии польского театра, показать защитные механизмы, «искаженную оптику» этой темы, ловушки пафоса. Книга предлагает новую историю театра, поднимает тему Катастрофы, но — что важнее — касается также вопросов связанных с самоидентификацией поляков и внутренней работой, проделанной польским обществом. «Польский театр Уничтожения» — книга важная не только для театроведения, но для всей польской культуры, это захватывающий и глубокий рассказ о театре и обществе, о памяти и ее скрытых процессах, о самоидентификации и искусстве.

Grzegorz Niziołek, *Polski teatr Zagłady*, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Гжегож Низёлек (р. 1962) — театровед, театральный критик, профессор Ягеллонского университета и Высшей театральной школы им. Людовика Сольского в Кракове. Занимается театром XX и XXI века, романтической традицией в польском театре. Автор книг о драматургии Тадеуша Ружевича, творчестве Кристиана Люпы и Кшиштофа Варликовского. Один из основателей и главный редактор журнала «Дидаскалия».

УТОНЧЕННАЯ НОТА СЕЦЕССИОНА

Швейцарские витражи Юзефа Мехоффера не являются каким-то цельным, однородным произведением. Дух захватывает прежде всего от тех из них, которые выполнены в стиле «сецессион».

Мехоффер работал над витражами для собора в швейцарском Фрибуре (Фрайбурге) с 1895-го по 1936 год. Сорок один год!

Начинал он, когда Польша была разделена между тремя державами-агрессорами. А закончил, когда над Речью Посполитой уже висела угроза Второй мировой войны. За это время по Европе прокатилась Первая мировая война, умер император Франц-Иосиф, рухнула австро-венгерская монархия. Революция в России смела династию Романовых, к власти пришли большевики. Юзеф Пилсудский прибыл поездом из Магдебурга в Варшаву. Польша вновь получила независимость. Были изобретены кинематограф, радио, телевидение, танк, электрический холодильник, пенициллин и электронный микроскоп.

На протяжении всего этого времени, год за годом, Юзеф Мехоффер, один из самых выдающихся художников «Молодой Польши», в своей краковской мастерской или в усадьбе в Янкувке рисовал сотни набросков, эскизов и этюдов. Трудолюбиво, один за другим, покрывал краской огромные картоны с апостолами, святыми и героями Гельветии. Потом отсылал их в Фрибур, где в тамошней витражной мастерской «Кирх и Флекнер» его проекты реализовались. С большой тщательностью и старанием.

Сам художник (он родился в 1869 г. в подкарпатском Ропчице в семье полонизированных австрийцев, умер в 1946 г. в городке Вадовице) превратился из холостяка с рыжими усами в пожилого седовласого господина. Из жениха — в супруга. С Ядвигой из рода Янаковских он обвенчался в 1899 г., годом позже у них родился единственный сын Збигнев. Госпожа Мехоффер все эти годы неизменно оставалась музой и натурщицей художника. Он увековечил ее на прославленных картинах «Станный сад» и «Майское солнце», а также на бесчисленных портретах. Всегда выпрямленную, достойную и

элегантную. С горделиво поднятой головой, в великолепных шляпах.

В соборе св. Николая

Картон к фрибурским витражам я осматривала весной 2000 года в Национальном музее Кракова на выставке «Опус магнум — Юзеф Мехоффер». Подсвеченные теплым искусственным освещением, они восхищали беспокойным сецессионным штрихом, сочностью цветов. Однако это были всего лишь картон. В ненатуральном, музейном окружении. А вот проверить, как эти витражи переливаются красками в готическом соборе, мне предстояло только через десяток с лишним лет.

Фрибур, август 2014 г. Улыбка судьбы: посещение собора с международной группой журналистов. Некоторые из них, не слишком-то заинтересованные обозреванием соборного интерьера, сразу бегут с фотоаппаратами на башню-колокольню 75-метровой высоты, с которой открывается великолепная панорама. Но меня в тот момент никакая сила не загнала бы на винтовую лестницу: в суровом интерьере собора уже поблескивают цветные стекла.

Несколько человек остаются, однако, внизу. В часовнях собора и его алтарной части мы осматриваем целый комплекс из тринадцати витражей. Они просто огромные, высотой восемь и двенадцать метров. Ослепительные!

— Братство Пресвятого таинства, — рассказывает женщина-экскурсовод, — на исходе XIX века решило украсить печальное и однообразно серое внутреннее помещение тогдашней коллегиальной церкви св. Николая. Объявили международный конкурс, на который поступило 47 работ. Победил никому не известный поляк, Юзеф Мехоффер из Кракова. Он обошел художников из Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, Дании и Бельгии. А было ему тогда всего 26 лет...

Свежесть против рутины

Мехоффер даже не подозревал, что начинает работу над главным делом своей жизни. В одном из писем он довольно-таки легковесно написал, что в этом нет ничего особенного — «проект сделан рутинно, работа надежная, с осознанием конечного эффекта». Однако жюри оценило его картон «Апостолы» значительно выше, выражая при этом радость, что вот, наконец-то, в стены готической коллегиальной церкви вторгнется «модерн, яркий и творческий».

Макс де Дисбах, представитель старого патрицианского рода из Фрибура, констатировал: «Один только господин Мехоффер внес в эту выставку тонкую, изысканную ноту, не имеющую ничего общего со всей той гаммой рутинности, которую облюбовала для себя религиозно нацеленная художественная индустрия нашей эпохи».

Эта тонкая нота увязана с сецессионом — стилем, который как раз тогда одновременно расцветал в разных уголках мира: в Париже, Лондоне, Вене, Чикаго и Барселоне. В искусстве повеяло новым, историзм и академизм уходили в прошлое. В том числе и в Кракове. 1893 год оказался переломным.

«Умирает Матейко, — пишет известный писатель и публицист Тадеуш Бой-Желеньский в своих воспоминаниях «Знаешь ли край...», — Матейко был гениальным живописцем, но его школа, особенно в последние годы, сделалась мертвой. Из внешнего мира уже шли новые течения, новые лозунги, свет, цвет, пятно, пленэр, импрессионизм — не проникали они только в то здание, где властвовал Матейко, сам по себе, один-одинешенек, великий, в окружении посредственных учителей. Самые медлительные из учеников в духоте мастерской поливали грязным соусом свои холодные фигуративные эскизы».

О сецессионе, иными словами, об ар-нуво Бой не вспоминает, пожалуй, только по рассеянности.

Мехоффер принадлежал к числу прилежных воспитанников Яна Матейко, но живописи он обучался, кроме того, еще в Мюнхене и Париже, где на берегах Сены соприкоснулся с работами таких художников как Пьер Боннар, Анри Тулуз-Лотрек и знаменитый чех Альфонс Муха.

Вскоре после смерти Матейко Мехоффер начал творить в новом стиле. Сначала несмело, позднее — с импонирующим размахом.

Знаменательная черта польскости

О его фрибурском витраже со святыми Екатериной и Варварой проф. Мечислав Валлис, автор известной книги «Сецессион», спустя много лет напишет, что «в этих волнистых и пламенеющих линиях, в высоком и узком формате обеих частей, в асимметричной композиции (...), в изобилии цветочных мотивов и в этих падающих вниз головой обнаженных женских фигурах с пышными волосами — весь стиль сецессии».

Совершенно ясно, что витражи, создаваемые на протяжении более чем сорока лет, не могут быть цельным произведением. Отчетливо видна эволюция стиля художника — от заката историзма через сецессион вплоть до элементов ар-деко в межвоенном периоде. Однако дух захватывает прежде всего от витражей, выполненных в стиле «сецессион».

Швейцарские критики не жалели Мехоффера похвал. Фрибурские витражи они признали не только «самым выдающимся произведением современного искусства на территории Швейцарии, но также одним из вершинных достижений модернизма в мировом масштабе». Фердинанд Ходлер, известный швейцарский художник того периода, заявлял: «Это первые современные витражи, которые мне нравятся».

Журналист и критик Вильям Риттер был, пожалуй, первым, кто заметил, что творение Мехоффера отличает «некая знаменательная черта польскости, выражающаяся в присутствии польских мотивов, в связи с польским народным искусством».

Иерусалим с краковским барбаканом

Открывать в швейцарском соборе эти польские мотивы — приятное развлечение. Некоторые из них быстро бросаются в глаза, о других — скрытых или менее очевидных — необходимо знать. Краковянам всё это дается легче.

На витраже с апостолом Иаковом Старшим Мехоффер на заднем плане представил Иерусалим. Якобы. Потому что ведь на самом деле это панорама Кракова с барбаканом^[1] и башней Марицкого собора. В свою очередь, неподалеку от святой Варвары-мученицы виднеется пузатая башня Пасамоников (Позументчиков), иначе именуемая башней Шмуклеров (Басончиков) — ремесленников, которые изготавливали пояса, галуны, позументы и бахрому. Любопытно, насколько эти краковские виды пришлись по вкусу членам фрибургского магистрата.

Изображена где-то там и деревянная прялка. Пользовались ли такими швейцарки, я не знаю. Зато на польском Подгалье такие прялки употреблялись наверняка.

Кое-что свойское и привычное можно также заметить на витраже «Вера» (1900) с огромной дароносицей, хотя сегодня мы, скорее всего, выразили бы это несколько иначе, чем львовский профессор Владислав Козицкий: «С горячей

молитвой на устах приближается к ней Вера: чистая польская девонька, с распущенными светлыми волосами, в фате и с веночком маргариток на голове».

А вот славянские черты Матери Божьей Победительной — с младенцем Иисусом на левой руке — фрибурский монах-доминиканец, отец Иоахим Бертье, подметил сразу: «Нужно сказать, что появляется здесь не сама Мария, а это Мария с какой-то знаменитой картины. (...) На нашем витраже Мария несет в себе нечто скульптурное, архаическое и неподвижное, словно статуя».

Однако о том, что для витража со св. Марией Магдаленой художнику позировала сама госпожа Мехоффер, доминиканский священнослужитель скорее всего бы не догадался.

Тело защитника угнетенных

Если бы не компетентные исследования историков, вряд ли бы нам удалось распознать на витраже «Олицетворение Родины (Гельвеция)» Хелену Моджеевскую, великую актрису, которая в глазах современников была воплощением величия, изысканности, привлекательности и обаяния.

Точно так же, как в святом Михаиле Архангеле мы не узнаём ученика Мехоффера, Войцеха Ястшембовского, а в святом Иосифе — выдающегося живописца Тадеуша Маковского. Одухотворенное лицо и костистый силуэт последнего восхищали далеко не всех. «Св. Иосиф ужасающе худ, — брюзжал Марк де Муннинк, профессор космологии и психологии в университете Фрибура. — Его идеализм представляется сном невротика, такое тело не годится на роль победителя чудовищ, защитника угнетенных, рыцарственного заступника поработаемых девственниц. Такому больше подходит сочинять декадентскую поэзию, чем поражать кого-нибудь палахом в хаосе неупорядоченного мира».

xxx

Тем временем охотники за красивыми видами уже спустились с башни, сделав тысячи снимков. Чешский журналист бдительно осмотрелся вокруг, после чего чуть ли не рысцой пустился вдоль витражных окон. Выходя из собора, он ахнул: «Мехоффер? Ježíši... V životě jsem o něm neslyšel. (Господи Иисусе... В жизни о нем не слышал.) Je lepší než Mucha!».

Последнего нам, пожалуй, и нет нужды переводить.
Разумеется, лучше, чем Муха.

Текст опубликован на портале «Гражданского института».

1. Барбакан — элемент средневековой фортификации: округлое сооружение с бойницами, расположенное вне укрепленных стен и соединенное с ними защищенным переходом (так наз. «шеей») или разводным мостом. Барбакан закрывал вход в город или замок, защищал главные ворота. Краковский позднеготический барбакан — крупнейший из сохранившихся в Европе.

Кордиан Тарасевич

КОФЕ ПО-ВАРШАВСКИ

*Мы публикуем сохранившиеся в архиве 2-ой программы
Польского радио воспоминания Кордиана Тарасевича
(1910–2013), предпринимателя, человека яркого, хорошо
известного в кругах варшавской интеллигенции,
ставшего на склоне лет историком варшавских кафе.*

О себе я должен сказать так: мне девяносто лет, и я постоянно живу в Варшаве. Собственно, все эти девяносто лет у меня связаны с Варшавой, за исключением, разве что, раннего детства. Было это в 1916 году, когда российские власти, опасаясь того, что Германия начнет наступление, и Варшава окажется в руках немцев, решили эвакуировать в глубь России промышленные предприятия, прежде всего военного назначения, вместе с польскими рабочими и техническим оборудованием. Независимо от этой эвакуации, в глубь России были как бы интернированы и эвакуированы граждане австрийского и немецкого подданства. Вот и я со своими отцом и матерью оказался в 1915 году в Рязани. Спустя пару месяцев находившийся в Москве Арнольд Шифман, известный театральный деятель, занялся организацией выступлений польских артистов, которые оказались на территории России, и мой отец решил, что мы переедем в Москву. Там ставились замечательные спектакли, в которых участвовал не только мой отец, но и Юлиуш Остерва, Стефан Ярач, Войтех Брыдзинский, а также другие актеры, благодаря которым возникла эта театральная среда.

Я хотел бы здесь сказать, почему меня нарекли таким именем. Объясняется это тем, что мой отец, будучи молодым декламатором, выступил в заглавной роли во время первой премьеры «Кордиана» Юлиуша Словацкого в Кракове в 1899 году. Это была прекрасная роль, которая в его исполнении буквально наэлектризовала публику. Актерская карьера моего отца началась именно с роли Кордиана. Позже, когда я родился, родители дали мне это имя — Кордиан.

После этих московских спектаклей вся группа актеров, о которых была речь, и моя семья переехали в Киев, где под руководством Рыхловского был создан театр «Польский». Там все эти, а также некоторые другие актеры работали вплоть до начала революции. Когда появилась возможность вернуться в

Польшу, мы первым же поездом Красного Креста в 1918 году, преодолев различные препятствия, добрались до Варшавы.

Чем мне памятны эти первые годы? Первого января 1919 года отец вечером сказал мне, что мы куда-то отправляемся. Я не знал куда. Мы пошли по ул. Маршалковской до перекрестка с Иерусалимскими аллеями, где тогда находился Главный железнодорожный вокзал. Оказалось, что мы идем приветствовать приехавшего из Познани выдающегося композитора и патриота Игнация Падеревского. Помню — было темно, горели факелы, толпа ликовала, люди распрягли лошадей и тащили на себе экипаж Падеревского, — да, это был невероятный патриотический подъем, оставившей глубокий след в моей памяти. Позже, когда наступило 2 мая того же года, я был свидетелем шествия, направившегося от Королевского замка к Бельведеру. Возглавляла это шествие группа бывших повстанцев, участников восстания 1863 года, которые шли в своих голубых мундирах. Это тоже произвело на меня глубокое впечатление — первое после многих лет неволи шествие 3 мая.

В следующем году — 1920 — я начал готовиться к поступлению в гимназию и в связи с этим я уже лучше помню войну между Советской Россией и Польшей. Помню, как в Варшавском университете дамы из общества, среди них была и моя мать, собирали посылки для солдат, идущих добровольцами на фронт. Когда русское наступление провалилось, и стало понятно, что Варшаве ничто не угрожает, отец вновь взял меня с собой на встречу во дворец Рачинских, что находился как раз напротив Варшавского университета. Отец был дружен с публицистом — Владиславом Рабским, который жил в правом крыле дворца Рачинских с обширной террасой. Я тогда стал свидетелем того, как въезжал автомобиль с генералом Вейгандом, он тогда возглавлял французскую дипломатическую миссию и был советником нашего военного командования, ну и, конечно, запомнился энтузиазм женщин, которые вырывали цветы пеларгонии из горшочков и бросали на автомобиль Вейганда. Должен отметить, что до сих пор идут споры среди политиков и историков, кто был отцом победы: Пилсудский, Вейганд или Розвадовский. Во всяком случае, настроение было такое, чтобы устроить этому французскому генералу сердечные проводы.

Наступила осень. Война подходила к концу, мама привела меня сдавать экзамены во вступительный класс Школы земли Мазовецкой, которая располагалась на улице Кленовой. И тут произошло событие, тоже весьма характерное для того времени: когда мы стояли в коридоре и ждали, когда нас

пригласят в какой-нибудь класс, неожиданно показались молодые люди, значительно старше нас. Оказалось, что это были уже выпускники школы, которые не смогли весной сдать экзамены на аттестат зрелости, так как добровольцами ушли в армию, поэтому их экзамены были перенесены на осень. Мы сдавали во вступительный класс, а они, старшие ученики, сдавали свои запоздалые экзамены на аттестат зрелости на других этажах.

Школа располагалась недалеко от площади Люблинской унии, сегодня уже трудно себе представить, что там когда-то была конечная станция Виляновской узкоколейки, которая из Константина шла в гору, так, что из окон школы можно было увидеть паровозики. А на другой стороне улицы Пулавской была конечная станция Груецкой узкоколейки, так что можно сказать, что топография площади Люблинской унии была совсем другой.

В 1922 году отец взял меня с собой на торжественное празднование 40-летия фирмы «Плутон», находившейся на улице Житной. Мой дед Тадеуш — отец отца — основал в 1882 году первый в Польше цех по обжарке кофе. До того времени, пока этой фирмы не было, все обжаривали кофе на сковороде в своих кухнях. Конечно, качество этого неравномерно обжаренного кофе было спорным. Цех, в котором начали профессионально этим заниматься, стал своего рода сенсацией, но сразу возникли определенные трудности: надо было убедить людей, что такой кофе должен дороже стоить, так как при обжаривании кофе на 20% убывает в весе, плюс затраты на сам процесс обжаривания и т. д., поэтому начало существования фирмы было трудным, ну а потом она очень успешно развивалась. Во время Первой мировой войны, когда отца не было в Варшаве, фирму возглавил известный тогда общественный деятель — Станислав Гиршель. Надо сказать, что во время войны фирма счастливо выжила, только благодаря ему. И вот в 1922 году мы праздновали ее сорокалетие. Здесь, может быть, я немного забегу вперед и скажу, что после смерти Гиршеля руководство фирмой «Плутон» перешло ко мне, как представителю третьего поколения Тарасевичей. Я старался ее развить, осовременить; помню, что мне удалось установить контакты со многими художниками, которые потом сделали хорошую карьеру: Ежи Хрыневецкий, Эрик Липинский. Мы поменяли упаковку кофе и чая на более современную, запустили более привлекательную и разнообразную рекламу и т. д. В общем, «Плутон» до войны имел 23 магазина, 6 из них располагалось прямо на улице Маршалковской. Почему я об этом говорю? Да потому, что фирма эта стала своеобразным

символом варшавского купечества, с уже сложившимися многолетними традициями, наряду с другими фирмами, которые тоже были на очень хорошем счету у варшавян.

Хотелось бы еще сказать, что фирма «Плутон», которая очень успешно развивалась, открыла филиалы в таких городах, как Лодзь, Гдыня, Познань и Львов. У нас было множество собственных магазинов, так что обороты фирмы здорово возросли, и все свидетельствовало, что нам обеспечен большой успех. К сожалению, потом началась Вторая мировая война, и все изменилось.

Вернусь еще раз к годам раннего детства. Все молодые люди занимались тогда спортом, главным образом в парке Агрикола. В 1924 году в Париже проходила Олимпиада, спортсмены вовсю готовились, чтобы принять в ней участие. Кроме того, большой популярностью пользовался футбол спортивного клуба «Полония», там играли, по существу, одни варшавские интеллигенты — Гебетнеры, Лоты и Грабовские. А на противоположной стороне улицы Мысливецкой, если смотреть в сторону Вислы, находился Военный спортивный клуб «Легия», там были теннисные корты. В школе у меня был друг Тадеуш Лот, когда мы учились в пятом классе, его отец добился, чтобы нашу школьную молодежь приняли в теннисную секцию клуба «Легия». Вот мы, нас было несколько, и записались в секцию. Популярность нашего клуба росла на глазах, особенно после того, как сюда из Познани приехал великий теннисный талант — Тлочинский, который стал побеждать на самых разных международных соревнованиях. Корты «Легии» стали притягивать к себе пристальное внимание. На самые важные соревнования по теннису здесь собирались сливки варшавского общества. На этих кортах я познакомился со своей будущей женой. Как-то раз, когда я играл в теннис, она пришла, села в судейское кресло, и я увидел, какие у нее стройные ноги. Мы до сих пор вместе.

Какие еще были интересные спортивно-рекреационные развлечения у варшавян? Например, конные состязания, которые проходили в прекрасном месте — на улице Польной была беговая дорожка. Был еще цирк на ул. Ордынацкой, где обычно нескольких месяцев шли цирковые представления, а потом начинались состязания по борьбе. Все понимали, что бои эти «условные», но тем не менее публика с удовольствием наблюдала за поединками атлетов. Тогда популярен был некто Пинецкий, использовавший прием «захват Нельсона» и таким образом побеждавший противников. Публика кричала: «Леончик, давай нельсончик», так что этот цирк тоже был

своеобразным варшавским развлечением, а в конце 20-х годов в Лазенках был прекрасный конноспортивный стадион.

Всеобщей любовью варшавян пользовались замечательные театральные актеры: Зельверович, Пшибылко-Потоцкая, Юноша-Стемповский, Мария Малицкая, Цвиклинская — это были настоящие звезды театра, очень популярные. Помню, на стадионе «Легии» проходил теннисный матч в 1939 году, политическая атмосфера была очень напряженной, и вот в определенный момент публика увидела, что Цвиклинская встала — ибо она уже спешила в театр — и кто-то вдруг крикнул: «Да здравствует Цвиклинская!». Тогда встали все, и раздались овации в честь Цвиклинской. Это как-то разрядило тягостную атмосферу.

Кроме этих театральных звезд, были также звезды легкого жанра — «Qui Pro quo», «Банда», «Морское око». В кабаре с этими названиями выступала целая плеяда прекрасных звезд жанра: Погоржельская, Ханка Ордон, сестры Галама, Дымша, Бодо, Ярослав. Это были блестящие артисты, причем тексты для них писали выдающиеся поэты. Жители Варшавы, можно сказать, срослись с этими артистами душой. К этой плеяде можно отнести и Яна Кепуру, который, как известно, был великим певцом, так вот он ввел такой обычай, что после концерта в Варшавской филармонии, он ехал в гостиницу «Бристоль», где жил, и уже с балкона, вечером, пел по просьбе публики, которая теплыми летними ночами ждала у гостиницы возможности насладиться пением любимого певца. Это были незабываемые варшавские впечатления.

А замечательный юмор, который всегда был характерен для Варшавы. Особенно отличался остроумными высказываниями, которые потом передавались из уст в уста, Адольф Дымша. Он был приятелем Венявы-Длугошовского, когда Венява был назначен послом в Риме, друзья собрались на вокзале, чтобы попрощаться с ним. Когда поезд уже отправлялся, Венява бросил Дымше такую фразу: «Адольф, я никогда тебе этого не забуду». Это был такой политический намек, когда Гитлер занял Австрию, он боялся, что Муссолини запротестует, но Муссолини сохранил нейтралитет, и Гитлер сказал: «Дуче, я никогда тебе этого не забуду». В общем, это была своего рода политическая сенсация — чтоб отправляющийся в Италию посол позволил себе шутку такого рода! Я считаю, типично варшавскую шутку.

Мне хотелось бы еще сказать несколько слов о варшавских кафе. В кафе «Земьянская» собирались известнейшие польские поэты: Вежинский, Тувим, Лехонь, Балинский, Ивашкевич. Там также

бывали Венява, Дымша и философ-балагур Франц Фишер, личность весьма оригинальная. Из «Земянской» по всей Варшаве расходились разные шутки и каламбуры. Были и другие артистические кафе — на площади Победы «Институт пропаганды искусства», потом еще «Искусство и мода» (по-польски сокр. СИМ) — это кафе основала пани Арцишевская. Там выступали Мира Зиминская и Витольд Малцужинский, он был тогда молодым пианистом. Пани Арцишевская воплотила в жизнь еще одну свою идею: она организовала «Клуб газетчиков». Газеты тогда развозили на велосипедах; газетчики, ожидавшие у редакций, быстро бросали только что выпущенные газеты в мешки и развозили их по киоскам. Пани Арцишевская собирала этих газетчиков и на Рождество устраивала для них прием, готовила какое-нибудь угощение, а они называли ее «Пани Сим». Позже появилось новое кафе на углу улицы Новы Свят — «Кафе Клуб» и еще одно последнее такое кафе — «Зодиак» на улице Траугутта. Витольду Гомбровичу почему-то не нравилось в «Земянской», он предпочитал «Зодиак», здесь он прощался с Густавом Херлингом-Грудзинским в августе 1939 года. Потом сел на пароход и, как известно, еще до начала войны оказался в Аргентине.

Последние предвоенные годы... Здесь надо отдать должное Стефану Стажинскому, который был президентом города и много сделал для развития Варшавы: прокладка улицы Маршалковской через Саксонский парк, строительство Главного вокзала, прокладка центральной железнодорожной линии, Костюшковская набережная — в эти проекты были вложены большие средства, была проведена серьезная модернизация и в торговле, и в промышленности. Уже вводилось неоновое освещение.

Последние недели перед разразившейся войной проходили в спокойной атмосфере. Остается только удивляться спокойствию польского общества, варшавского света — ведь было множество тревожных сигналов, свидетельствовавших о возможном начале войны. В том, что люди не верили в войну, нет ничего удивительного, потому что это ужасная перспектива, человек всегда старается отстраниться от таких пессимистических предчувствий. Однако, возможно, на настроение поляков, а особенно жителей Варшавы, повлияло одно событие, которое имело место несколько лет раньше, а именно: в столице проходил финал масштабного международного авиационного мероприятия, в котором свою авиационную технику демонстрировали такие могучие державы как Италия, Франция, Германия. Тогда же состоялся и

наш международный авиадебют: был показан «РВД» — самолет конструкторов Рогальского, Вигуры и Джевецкого, который завоевал огромный успех, выиграв в этой весьма трудной конкуренции, на глазах полной энтузиазма, стотысячной, пожалуй, массы зрителей, собравшейся на Мокотовском поле и наблюдавшей за тем, кто прилетит первым. Этим первым как раз и оказался самолет «РВД», который пилотировали летчики Жвирка и Вигура. К сожалению, вскоре после этого они оба погибли в авиационной катастрофе. Но мало того, когда через два года этот конкурс проходил вновь, поляки опять победили. На этот раз выиграл летчик Баян с механиком Покшивко. То есть было такое ощущение, что наша авиация лучшая в мире. И на самом деле, летчики были замечательные, только, вероятно, все забыли, что это были соревнования спортивных самолетов, а вовсе не военных — вот в чем была принципиальная разница.

Дождались мы первого сентября, и в прекрасную погоду, которая стояла на протяжении всего этого месяца, упали на Варшаву первые бомбы. Меня в то время в Варшаве не было. Я тогда работал шофером при Верховном командовании, и вот докатились мы до самой Коломыи. Там нам пришлось перейти через румынскую границу. Я получил разрешение вернуться в Варшаву. Мне удалось вернуться в первые дни октября. Столица уже пострадала от сильных бомбежек. Очень многие предприятия понесли большие потери, попросту те фирмы, которые существовали за счет импорта, практически погибли. Внешняя торговля перестала существовать, когда оккупация развернулась во всю силу и стали выходить немецкие распоряжения, наносившие удары по всем предприятиям. Кроме того, большое количество товаров, поставленных для импортных фирм в города Гданьск и Гдыня, тоже пропало; немцы их просто реквизируют. Серьезным ударом для чайно-кофейной отрасли стало вышедшее в ноябре немецкое распоряжение, на основании которого все запасы кофе и чая подлежали конфискации. Предписывалось составить полную опись запасов, и лишь по немецкому указанию можно было этот кофе продавать, но по весьма заниженным ценам. Безусловно, это серьезно сказалось на деятельности фирмы, которой надо было совершенно перестроить свою работу. У нас в «Плутоне» работало больше ста человек, и надо было все сделать для того, чтобы эти сто человек смогли выжить. Средства на зарплату тоже были заблокированы, сразу выросла инфляция, в общем, пришлось искать разные выходы. Была налажена работа оптового склада продуктов по карточкам в «Плутоне», мы расширили производство злакового кофе, который тоже выделялся по карточкам, затем было налажено фруктово-овощное производство, благодаря созданию

хозяйства в Плудах под Варшавой. Мармелад и разные другие продукты переработки также были по карточкам, но все же это обеспечивало некие обороты, которые позволяли действовать нашему предприятию. Мы задумали также открыть кафе на улице Мазовецкой под названием «Фрегат», где получили работу очень многие представители интеллигенции. Появилось большое количество кафе, где официантами работали театральные актеры, кое-где им даже доверялось руководство. Главным человеком в таких кафетериях, как, например, «У актрис» и «У знахаря», был Кароль Адвентович.

Возникает вопрос: если немцы конфисковали весь запас кофе и чая, то откуда брались эти кофе и чай в варшавских кафе? Тут надо отметить один любопытный факт: в тот критический день, когда бомбардировки Варшавы усилились и начали гореть многие объекты, в том числе склады на ул. Ставки — Стажинский сообщил населению по радио, что склады открыты и любой может взять оттуда все, что сможет унести. Смелые люди — ведь это же было опасно — буквально лавиной ринулись туда, к этим складам. Таким образом большое количество кофе и чая оказалось в частных руках. Разумеется, когда появилось распоряжение о реквизиции, никто и не помышлял о том, чтобы сообщать об имевшемся у него мешке кофе или ящике чая. Потом это понемногу расходилось, с одним, может быть, недостатком — никак нельзя было выставить счет. Однако финансовые органы в то время смотрели на это сквозь пальцы, чтобы не платить налогов немцам, так что особой опасности не было. Таким образом, все эти кафетерии работали вполне успешно. Это касалось не только жителей Варшавы, но и людей, выселенных с территории Познани, которые находили здесь работу. Да и другим удавалось устроиться. Тем, кто оказался в трудной ситуации, например, женам офицеров, находившихся в лагерях для офицеров и т. д.

Я часто задумывался, какие моменты за пять лет оккупации были самыми трагическими для варшавян. Первым таким трагическим событием стал расстрел около 100 человек в подваршавской тогда местности Вавр — на рубеже 1939–1940 года. А в 1940 году, уже в начале весны, расстрелы польской интеллигенции в Пальмирах, под Варшавой. Потом произошло падение Франции. Это был колоссальный удар. Ведь мы верили во Францию, в Англию, что это самые мощные державы, которые сумеют дать отпор Германии, а тут вдруг такая новость. После относительно короткой военной кампании Франция капитулировала. Это был очень сильный удар для всех. В 1943 году прошла массовая акция расстрелов на улицах. Этих

мест массовой казни людей в Варшаве, было, наверное, около 200, а может, и больше. Я помню знакомых, которые работали на улице Вейской и в районе Аллей Уяздовских, где сейчас расположено венгерское посольство — там расстреляли 120 человек, а продолжался этот расстрел около двух часов. Улицы были перекрыты, не разрешалось смотреть в окна. Это было трагическое событие, которое надо было как-то пережить и не сломаться. Известие, что в Катыни погибли несколько тысяч офицеров, стало для нас настоящим шоком. Был список этих людей, разные знакомые и родственники оказались в этом списке. Потом смерть генерала Сикорского над Гибралтаром — несомненно, это были очень тяжелые моменты, которые надо было пережить.

Однако надо сказать и об одном весьма позитивном событии в этот период, а именно: в конце 1942 года мы вдруг услышали, что немцы на Замойщине очищают территорию, вплоть до того, что детей отнимают у родителей и куда-то этих детей собираются отправлять. В начале 1943 года было очень холодно, стоял крепкий мороз. Я уж не помню, кто мне позвонил и сообщил, что эти дети находятся сейчас на Восточном вокзале в Варшаве. Там стоит товарный поезд, и детей можно забирать. Мы в нашей фирме уже немного подготовились к чему-то такому; организовали автомобиль, людей, какие-то помещения и около сотни детей из Замойщины, вместе с друзьями из других фирм мы тогда забрали. Детей мы разместили по двум адресам: девочек — на ул. Икара, а мальчиков — на ул. Окоповой. Нам удалось организовать два этих места под эгидой Красного Креста для этих несчастных детей, среди которых были и евреи, особенно среди девочек. Спрятать этих евреек было огромным риском для руководителя убежища. Этих детей необходимо было научить правильно читать молитву, ведь немцы проводили контроль и обыски. Надо сказать, что про этот утренний телефонный звонок кто-то узнал, и вскоре разошлось по сарафанному радио, что господин Тарасевич что-то знает, поэтому каждые несколько минут мне звонили и спрашивали про детей. Я всем отвечал, что дети в Варшаве, Восточный вокзал, надо туда ехать и забирать. Это стало потрясением для населения Варшавы.

Надо сказать, что все фирмы, с которыми у меня были контакты, — а я со многими известными варшавскими фирмами поддерживал дружеские отношения — все они очень заботились о своих работниках, о людях, которые оказались в трудной ситуации. В фирме «Плутон» ежедневно выдавали сотрудникам суп, настолько питательный, что он почти заменял целый обед. Такой суп все наши сотрудники получали

на протяжении всех пяти лет, а тем, кто работал в магазинах, его доставляли на автомобиле. Мы договорились с двумя врачами, которые бесплатно консультировали наших сотрудников. Мы покупали лекарства, которые также трудно было достать на рынке, а сотрудники получали их бесплатно. Еще мы собирали разные праздничные посылки для офицеров, находившихся в лагерях, — около двадцати офицеров получали время от времени посылки, в общем, получилась довольно широкая благотворительная акция, свидетельствующая о том, что поляки в трудное время умеют не только объединяться, но и сохранять достоинство. Умеют быть солидарными с теми, кто оказался в трудной ситуации.

Тут мы приближаемся к концу моего повествования о периоде оккупации. Началось восстание. Меня предупредили, что нечто такое может случиться, так что я отдал распоряжение, чтобы люди ушли с работы пораньше. Разумеется, Восстание мы переживали с разными чувствами, зная, какие небольшие силы противостоят вооруженным до зубов немцам, у которых были танки, самолеты и пушки. Наша фирма «Плутон» на улице Гжибовской располагала крупными продовольственными складами, а поскольку это были оптовые склады, связанные с продуктами по карточкам, то там были и сахар, и крупы, и мука, так что повстанцы из Главного штаба приходили туда с заявками, и там им выдавали эти продукты для населения и повстанческих отрядов. Я менял свой адрес по мере того, как менялся фронт, немцы занимали то одни, то другие улицы и кварталы. В конце концов, я оказался на улице Смольной и так получилось, что оттуда уже не было возможности уйти, чтобы вернуться на улицу Новы Свят. Здесь я приведу такой интересный факт: вся наша группа, которая оказалась на улице Смольной и поблизости, была схвачена немцами, мы оказались на территории Национального музея и не знали, что с нами будет дальше. Все это произошло примерно во второй половине дня. Только вечером нам было велено перейти обратно через Иерусалимские аллеи и двигаться в туннель, в котором мы сидели и ожидали, неизвестно чего. И вот, то ли пятого, то ли шестого сентября прибыл товарный состав из нескольких вагонов, нам было приказано грузиться в эти вагоны. Короткая поездка по туннелю под Иерусалимскими аллеями была очень странной, ведь наверху шли бои — там были баррикады, танки, пушки, а мы тут движемся по туннелю на Главный вокзал, — он тогда еще не был взорван — там мы до утра ждали решения нашей дальнейшей судьбы. Пешком нас переправили через площадь Нарutowича, дальше посадили на поезд, и мы оказались в пересыльном лагере в Прушкове.

Восстание закончилось, надо было как-то жить, и мы стали искать способ, как продолжить дело. Тогда нам в голову пришла мысль, что для мармелада, который производился в местности Плуды, нам необходима фруктовая мезга, пульпа, такой полуфабрикат. Она хранилась как раз на ул. Гжибовской. Мы сумели как-то объяснить немцам, что будет жаль, если этот продукт пропадет, что надо постараться вывезти его из Варшавы. Шел уже октябрь, в окрестностях Радони мы открыли совсем маленькую фирму по переработке мармелада, чтобы делать его на основе этого нашего фруктового ингредиента, который надо было перевозить в бочках. Потом мы по карточкам распределяли мармелад. Мы понимали, что поражение немцев неизбежно, но немецкие власти полагали, что, по крайней мере, до весны все у них будет в порядке, и они дали нам разрешение воспользоваться этим нашим полуфабрикатом, хранившемся в Варшаве. Благодаря этому мне удалось шесть раз побывать в разрушенной и обезлюдевшей Варшаве. Это было сильнейшее впечатление — въехать в город, в котором в нормальное время слышен шум трамваев, бричек и пр., а тут вдруг мертвая тишина, кругом все сожжено, уничтожено, брошено. Тогда еще было очень много не сожженных домов, и вот тебе бросается в глаза такой брошенный дом, развевающиеся занавески, звенят заунывно водосточные трубы, шныряют какие-то коты, крысы, ты видишь баррикады, еще не разобранные, — ужасный, ужасный вид. Однако благодаря тому, что я побывал там несколько раз, мне удалось провернуть две акции, а именно: у меня был приятель Тадеуш Бреза — писатель, который меня попросил отыскать в его квартире три вещи, весьма для него важные. Это была машинописная рукопись его романа, который он написал во время оккупации, затем годовую подшивку газеты «Курьер варшавский» времен Ноябрьского восстания 1831 года — весьма ценный литературный памятник, и какая-то картина Фрагонара, копия. Я обещал, что постараюсь выполнить его просьбу, и действительно, уговорил одного пожилого офицера, сопровождавшего вывоз бочек с нашей пульпой, подъехать в свободное время в квартиру Тадеуша Брезы. Мы подъехали; квартира была цела, не сгорела. Мне удалось довольно быстро отыскать и эту рукопись, и подшивку, но, к сожалению, картину, спрятанную в подвале — а подвал был совершенно разорен — найти было невозможно. Это была одна ценная находка, а вторая: там, на ул. Гжибовской, где был офис моей фирмы, у меня в подвале хранились картины Выспянского, на которых был представлен мой отец в ролях двух героев пьес Выспянского: в роли Сецеха («Болеслав Смелый») и Протесилая («Протесилай и Лаодамия»), довольно большие по размеру, высотой примерно метра полтора. Это были пастели. Вот они —

то как раз в подвале и уцелели. Мне удалось, благодаря тому, что машины с бочками ехали из Варшавы в сторону Гродиска, вывезти эти картины. Сейчас они находятся в Театральном музее в Варшаве. Мне также удалось вывезти всю оставшуюся отцовскую библиотеку, насчитывавшую около тысячи книг.

И последний любопытный факт, если говорить об этом периоде оккупации и времени после восстания. Автобаза того немецкого офицера располагалась у гостиницы «Полония». Туда мы и вернулись после посещения квартиры Тадеуша Брезы; я вышел из машины и, глядя на Иерусалимские аллеи, почувствовал, что тут как-то иначе все выглядит, только не мог понять, в чем дело, почему мне кажется, что совершенно изменился пейзаж. В конце концов, я огляделся и понял — вдоль всей этой улицы, от пересечения с улицей Маршалковской в направлении Западного вокзала были вырублены все деревья, взорваны все фонари и столбы с трамвайными проводами. Странно выглядела эта оголенная большая улица, лишенная всех элементов, к которым так привык человек. Я спросил немца, что случилось. Он как-то загадочно усмехнулся и ответил, что, мол, это тайна, но в конце концов признался, что немцы готовятся превратить опустевшую Варшаву в крепость, и что как раз тут должно быть взлетное поле для самолетов, которые будут доставлять снабжение для этой крепости.

В конце концов, наступил тот долгожданный момент, когда немцы были вытеснены с территории Польши. Начался новый период, покрытый тайной, ибо мы не знали, что нас ждет в ближайшем будущем. Как только немцы оставили окрестности Варшавы, мы попытались попасть в уже освобожденный город, который был к этому времени еще больше разрушен. Жизнь в Варшаве в течение первых недель 1945 года сосредоточилась в районе Праги. На правый берег Вислы, в район Праги, можно было попасть с помощью понтонной переправы. Потом был построен временный мост, по которому можно было пройти или проехать на велосипеде. На Праге жизнь была ключом. Прага была почти не разрушена, так что улица Таргова играла очень важную роль — роль именно главной торговой улицы. Люди там встречались друг с другом; я, например, встретил на Тарговой своего школьного товарища, одетого по-военному — Казимежа Рудзкого, он прибыл сюда из офлага и все спрашивал меня: что делать дальше, куда ехать? Позже он уехал в Лодзь, которая стала городом, заменившим столицу. Даже поговаривали, что может быть, не стоит восстанавливать Варшаву, может, лучше перенести столицу в Лодзь. Там была наша ближайшая база, где можно было встретить кого-то из

знакомых и даже сходить в театр. Там действовал театр «Войска польского». Я помню представление «Свадьбы» Выспянского с Марианом Выжиковским, на меня этот спектакль произвел огромное впечатление. Позднее Эрвин Аксер открыл там театр, в котором Казимеж Рудзкий дебютировал после войны. Так что культурная жизнь в Лодзи на протяжении долгого времени была очень интересной, но до тех пор, пока Варшава не начала опять функционировать.

В конце концов мы нашли помещение в Варшаве, в несторевавшем доме по улице Пенкной, 11, на углу улицы Кручей; там мы открыли свой офис, установили первый телефон... Первая телефонная книжка была совсем тоненькая, да и телефонных аппаратов было совсем мало. В этих руинах жить было очень трудно, ведь кругом стояла пыль из-за рушащихся домов. Их потом еще и взрывали самым примитивным образом, так что у людей страдали глаза и дыхательные органы. У нас был сосед, который жил на Mokotowska 25, там возник «Клуб рабочей интеллигенции». В этом клубе выдавались довольно дешевые обеды. Директор клуба, познакомившись с нами, как-то раз сказал: «Послушайте, у меня тут есть приглашения во дворец Совета министров на ул. Краковское предместье». Это там, где сейчас находится президентский дворец, а тогда там иногда читали разные лекции. Вот на одну из них мы втроем — двое моих друзей и я — отправились. Мы прослушали лекцию, а потом двери открылись и прозвучало: «На бокал вина приглашает господин премьер Осубка-Моравский». Организатором буфета был господин Хенрик Фукер из той самой, очень известной семьи виноделов. Там же оказалась наша знакомая, которая была секретарем Осубки-Моравского. И вот мой приятель, который был с ней на «ты», говорит: «Представь нас господину премьеру». Она быстро обернулась и буквально тут же произносит: «Господин премьер, позвольте представить Вам делегацию беспартийных купцов», — так она нас представила. Осубка-Моравский сказал: «Я очень рад, нашему государству очень нужны Вокульские^[1]». Для нас эта информация оказалась довольно неожиданной, ведь мы все думали, что правительство будет весьма левым.

Очень быстро выяснилось, что эта модель трехукладной экономики, в которой должны были присутствовать государственный, кооперативный и частный секторы, имела весьма короткую жизнь, несмотря на то, что Хилари Минц — министр экономики — твердо обещал некоторым предприятиям, что их не тронут. Однако очень быстро оказалось, что это была всего лишь пропагандистская концепция, а жизнь будет идти совсем другим путем.

В 1948 году здесь, в Варшаве, меня избрали президентом Торгово-промышленной палаты. Заняв эту должность, я стал интересоваться, как будет функционировать наша экономика в новой системе, каковы будут возможности для частной инициативы. С того самого момента, как я стал президентом, мы пытались по разным каналам добиться аудиенции у министра Минца, который в то время был как бы экономическим диктатором. Между делом мы совершили интересную поездку в Чехословакию, а осенью, после возвращения из этой поездки, — это был конец 1948 года — нас ждала новость, что произошло резкое обострение и многие предприятия ликвидированы. А ведь планировался Съезд представителей частной промышленности на землях, которые вновь стали польскими, во Вроцлаве, целью которого должен был стать обмен мнениями по разным экономическим вопросам. Должны были приехать те, кто отвечал за экономику. Тогда я вновь попросил о встрече с Минцем. Попали мы к нему осенью — я тогда слегка пошел ва-банк и сказал ему: «Господин министр, планируется съезд, но ведь на таком съезде следует говорить о будущем, а не о ликвидации. Если мы должны говорить о ликвидации, то лучше не проводить этот съезд». Он со мной согласился. И говорит: «Послушайте, может быть, мы откажемся от этого проекта, а вы подготовьте ваши пожелания. Я вам обещаю, что вице-министр примет вас в ближайшее время, и вы сможете изложить свои запросы». Разумеется, мы были у этого вице-министра, Эугениуша Ширы. Была большая делегация, очень хорошо были изложены все наши пожелания, как для торговли, так и для промышленности, и для банковской сферы... К сожалению, закончилось это ничем. Ликвидация продолжалась быстрыми темпами, так что в 1950 году нам пришлось объявить о банкротстве фирмы «Плутон», которая для меня всегда была на первом месте. Мы получили документ о том, что земля, на которой находилась наша фирма, уже национализирована; по ипотеке это уже была собственность не «Плутона», а Государственной казны, поэтому банк отказал в кредитах, и пришлось объявить о банкротстве. Не было никаких шансов для дальнейшей работы фирмы. Учрежденная в 1882 году моим дедом, существовавшая почти 70 лет, так много достигшая фирма перестала существовать. Потом наступил довольно трудный период ПНР, уже со всеми последствиями, которые нам известны. Какая-то надежда вспыхнула было в 1956 году. Мы помним этот перелом, наступивший с приходом к власти Гомулки, этот большой митинг на Маршалковской перед Дворцом культуры, выступление Гомулки, Марианна Спыхальского — в общем, была какая-то надежда, что, возможно, наступит некий перелом в направлении

либерализации. Несколько месяцев длились эти настроения надежды, может, даже год, мы ощутили, что стало немного легче дышать. На меня большое впечатление произвел в 1956 году визит маленького Студенческого театра из Гданьска — «Бим-Бом». Это было в Еврейском театре. Помню, на этом спектакле, где я был, был также Марианн Рапацкий — министр иностранных дел, давний социалист, сын общественного деятеля высокого уровня Адама Рапацкого. Не только сам визит министра говорил о том, что повеяло, наконец, свободой, но и огромный букет цветов, преподнесенный от его имени коллективу театра. Збышек Цыбульский, Яцек Федорович — это были герои того представления, которое вселило в нас надежду, что грядет нечто новое. К сожалению, оказалось, что и это быстро закончилось.

Поскольку мне всегда была дорога кофейная тематика, так как я всегда работал в этой отрасли, я должен сказать также два слова о кофе в ПНР. Укоренился такой плохой обычай, что как только кофе вообще стал доступен, то во многих кафе распространилась практика — впрочем, она и по сей день еще жива — что кофе пьют из больших стаканов. К сожалению, это было распространено также в учреждениях, на работе — кофе пили из чайных стаканов. Это же ужас, просто ужас!

Однако надо сказать, что в связи с кофе тут напрашивается варшавская тема — тема кафе, в частности. Кафе стали расцветать, и надо вспомнить здесь известного поэта и публициста Антония Слонимского, который был просто какой-то железной личностью, завсегдатаем ряда кафе. Я даже назвал эту трассу «следами Слонимского», ибо сначала кафе на ул. Новы Свят, потом кафе в помещении Государственного издательского института на улице Фоксаль, потом кафе «Март» на площади Трех Крестов, потом — «Виляновская» на Иерусалимских аллеях, ну и «Чительник». Во всяком случае, этот путь Слонимского был хорошо известен, и тут мне бы хотелось привести слова другого поэта, Артура Медзыжецкого, по мнению которого столик Антония Слонимского был чем-то вроде ежедневной газеты, и нельзя было им пренебречь, так как там формировались мнения общества. Все знали, что Слонимский приходил постоянно в один и тот же час, имел при себе приготовленный листок, на котором он записывал разные новости, шутки, и анекдоты. Он был кладезем различных афоризмов, метких определений, которые подхватывались литераторами и распространялись в кругах интеллигенции. Властям далеко не всегда это нравилось. Эрик Липинский в своих мемуарах часто вспоминает, что когда он в кафе «Лайконик», тоже на площади Трех Крестов, рассказывал

какие-то страшно антиправительственные анекдоты, то какой-то депутат на это отреагировал так: «Вы, господа из «Лайконика» не воображайте, что когда-нибудь придете к власти». В этом, как оказалось, крылось некое пророчество, потому что кафе при Издательском институте партийные власти все же закрыли, то есть угроза депутата оказалась реальной. А что касается этого легендарного кафе, то недавно я узнал, что там произошел один любопытный инцидент: это было небольшое кафе, которое получило разрешение, но в нем не было туалета. И был там такой постоянный посетитель, живший в том же доме, который сказал, что оставляет ключ от своей квартиры, и знакомые могут пользоваться его туалетом. Как-то раз он сам, сидя в этом кафе, вдруг вспомнил, что ему надо вернуться домой, вошел в квартиру и заметил, что дверь в туалет открыта, а какой-то тип, сняв пиджак, нацепляет на себя подслушивающий аппарат. Разумеется, он предупредил об этом всех в кафе. Я до сих пор не знаю, кто это был. Возможно, мы никогда этого и не узнаем, но во всяком случае это показывает, в каком мире мы тогда жили.

В 1971 году я написал историю фирмы «Плутон», снабдив ее документами, фотографиями, статистическими таблицами. Книга вышла под названием «Кофе по-варшавски — история Фирмы „Плутон”». Тираж был небольшой. Правда, не обошлось без хлопот с цензурой — зачем, мол, нужна такая книга о капитализме? Однако нам как-то удалось все же преодолеть эти формальности.

*Магнитофонная запись сделана Эвой Стоцкой-Калиновской в 2002 году,
на бумагу перенесла Богумила Пшондка,
перевела Елена Шиманская*

-
1. Вокульский — купец, герой романа «Кукла» Болеслава Пруса.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУКИ ВЕДЕТ К МОРАЛЬНОМУ ОПУСТОШЕНИЮ

— Недавно в СМИ вы говорили о кризисе польской науки. Мне это напомнило напечатанную в 1980 году в журнале «Политика» статью Мачея Иловецкого, которую он написал после заседания Президиума ПАН, во время которого президент Польской академии наук профессор Януш Грошковский в своем не лишенном драматизма докладе говорил о зависимости науки от государственной власти, о ее закрытости и нищете. Все это принципиальным образом изменилось. В чем же заключается нынешний кризис?

— Тот кризис был локальным, хотя им были охвачены страны советского блока. Нынешний кризис охватил весь Евросоюз. В связи с этим мне припомнилось кое-что из прошлого, а именно — мечта коммунистических «генсеков» «догнать и перегнать Америку». Лиссабонская стратегия была проектом, направленным на то, чтобы догнать Америку в развитии научных исследований. Не удалось. Кризис европейской науки, по моему мнению, — вполне очевиден.

— Не является ли он производной от экономического кризиса, то есть чем-то неизбежным?

— Нет. Он является прежде всего производной идейного кризиса в Евросоюзе. Впрочем, источники экономического кризиса также следует усматривать в том, что были преданы забвению некие основные правила организации коллективной жизни, которые в прошлом принесли успехи Европе. Или же от них просто отказались, как отказались от приверженности ценностям, которые необходимо соблюдать в коллективной жизни, и которые мне представляются здесь не как конфессиональные, а как универсальные. Подобно Лиссабонской стратегии, не принесла ожидаемых результатов и болонская система, которая должна была перестроить систему высшего образования в Европе. Как бы мы ни относились к различным мировым рейтингам, но фактом остается то, что в первой двадцатке повсеместно признаваемых рейтингов находятся только два европейских университета, оба английские — Оксфорд и Кембридж — это о

чем-то говорит. Это свидетельствует о том, что Европа отстает от Соединенных Штатов на... множество световых лет.

— Углубляется ли кризис?

— Кризис прогрессирует, потому что в Европе по-прежнему только эти два университета, а список пополняют азиатские высшие учебные заведения стремительно развивающихся стран.

— А в Польше?

— В научные исследования и высшее образование были закачены огромные, если говорить о наших условиях, средства, которые выделялись главным образом ЕС, но это не принесло существенного результата.

— Мы их плохо использовали?

— Мы использовали их на инфраструктуру. На строительство. Были построены учебные заведения и некоторые институты. Например, теперь в Польше больше институтов нанотехнологии, чем во Франции. Эти здания надо содержать, а это дорого стоит, но прежде всего в них необходимо проводить научные исследования — причем на соответствующем уровне, — а такого не происходит.

— Почему?

— Потому что это тоже дорого стоит и требует многих лет подготовки. Попытка ввести такую систему финансирования, которая обеспечила бы быстрое получение научных результатов, привела к значительному ограничению автономии высшей школы. Я никого не виню в этом, результат не был предсказуем.

— Как же так получилось?

— Если деньги на научные исследования в вузах поступают исключительно из краткосрочных грантов, а именно такова была концепция, то люди теряют независимость. Они знают, что через три года им придется искать новый грант, так что уж лучше ничем не рисковать. Вторым фактором, который повлиял на это, была вполне благородная задумка — оказывать финансовую поддержку совсем еще молодым ученым, недавним выпускникам, но опять же из краткосрочных грантов. Эти деньги заканчиваются, и люди, которые взяли кредиты на квартиру, обзавелись семьями, купили какую-то аппаратуру и т. п., оказываются почти без перспектив, так как

новых мест в вузах или институтах нет, а они уже вышли из возраста, когда получают «легкие» гранты.

— Это склоняет к конформизму.

— Конечно. Автономия вуза необходима для того, чтобы ученым не нужно было становиться конформистами. Сегодня группа таких людей невелика и, как правило, это люди постарше, у которых уже есть достижения, неоспоримая позиция, или это более молодые люди, ведущие исследования, которые не требуют больших денежных вложений.

— Уже более четверти века ученые имеют влияние на организацию исследований, систему образования и их финансирование.

— Влияние есть, но ограниченное, поскольку вся структура управления наукой основана на парарепрезентативстве научной среды.

— То есть?

— При становлении Третьей Речи Посполитой была проведена большая реформа Комитета научных исследований. Вся власть перешла в руки ученых — Комитет стал избираемым, и именно он распределял деньги на науку. Председатель не имел права назначать членов КНИ, он мог лишь в некоторой степени ими манипулировать, но влиять на состав КНИ он не мог. Вместе с преобразованием Комитета в министерство де-факто было ликвидировано настоящее представительство научной среды. Возникло очень много различных коллективов, руководящих наукой, которые комплектовались из представителей научных кругов, но не в результате выборов, а на пути рекомендации кандидатов, среди которых власти могли подбирать соответствующих людей.

— Это ограничило автономию, раздробило влияние представителей научной среды на самые разные коллективы, но ведь они могут, по крайней мере формально, влиять на решение того круга вопросов, который находится в их ведении.

— Они действуют в созданных министерством рамках, которые часто их ограничивают, даже если идея об их создании сама по себе была благой. А поскольку в Польше все носит краткосрочный характер — отсутствует механизм исправления, и создаются лишь все новые и новые изначально

административные рамки. Примером была программа Польских ведущих научных центров. (ПВНЦ).

— Была?

— Один конкурс состоялся (кажется, должен быть следующий), но оказалось, что в самой административной структуре этого мероприятия — множество недостатков. Я участвовал в работе жюри, созданного министерством, и мы в весьма подробных отчетах указали на что именно надо обратить внимание, чтобы исправить положение. Реакции не последовало никакой, я даже не знаю, заинтересовали ли хоть кого-нибудь эти отчеты. А в них, хотя они касались конкурса на создание программы ПВНЦ, было очень много замечаний, касающихся также работы коллективов, призванных давать оценку деятельности в сфере науки. Все это — главным образом произвольные действия административных властей — вызвало падение интереса к работе этих самых комитетов, коллективов, комиссий и конференций со стороны многих серьезных людей и, как следствие, привело к снижению уровня деятельности значительной части этих коллективных органов.

— В определенный момент министерство поручило распределение средств на науку двум агентствам: Национальному центру науки и Национальному центру исследований и развития. Предполагалось, что это станет неким предзнаменованием упрощения, а за счет этого и усовершенствования системы.

— Ничего этого не произошло. Национальный центр исследований и развития должен был заниматься крупными проектами с перспективой дальнейшего использования результатов исследований на практике. Насколько я знаю, единственная крупная программа этого центра — это программа, касающаяся сланцевого газа. Однако сланцы — проблема чисто политическая, а не научная. Остальные проекты оказались мелкими. Национальный центр науки, в Кракове, распределяет гранты по какой-то весьма сложной системе.

— Можно, однако, сказать, что руководство наукой оказалось в руках представителей научных кругов. И они приобрели значительное влияние на принятие различных важных решений.

— Действительно. Но при этом оказалось, что научные круги вовсе не желают реформироваться, что их очень легко склонить к административным идеям, которые возможно и

хороши, но требуют большого труда для их воплощения. А на такую работу ни у кого нет охоты, никто не хочет брать на себя связанную с этим ответственность. Научная среда весьма коммерциализировалась. Сначала дайте денег, а потом посмотрим, что мы за них сделаем.

— Мы подражаем в этом более развитым странам.

— Зачастую просто «обезьянничаем». Усердно создаем беспомощные копии (оценки, алгоритмы, коэффициенты) не до конца понятных систем, взятых из другого мира. Это идейная проблема, а не проблема наведения порядка! Китайцы отчаянно пытаются ввести у себя американскую систему организации науки и высшего образования, и ничего у них из этого не выходит. Закачивая в эту сферу огромные деньги, они сумели создать несколько хороших университетов, но укомплектованы они главным образом приглашенными специалистами. Мы не умеем даже этого — потратили огромные деньги на здания. Впрочем, Польша гораздо меньше Китая, и тут было бы невозможно пригласить американского профессора и платить ему во много раз больше, чем нашему, который ничем не хуже, а может быть и лучше.

— Вы предъявляете к своей среде очень серьезные претензии.

— Коммерциализация науки, зачастую слепая, привела и приводит к моральному опустошению. Достаточно вспомнить хотя бы недавнее событие: коррупция во Вроцлавском политехническом институте, не говоря уже о плагиатах и попустительском к ним отношении. В науке моральные нормы и методология, то есть принципы профессионализма, — неотделимы друг от друга. Осознание этого факта стерлось.

— Вероятно, это каким-то образом связано с демократизацией.

— Демократизация заключается не в снижении предъявляемых требований, и не в том, что можно вести себя безнравственно.

— Но приводит к тому, что в научные круги вливаются люди, которые не знают, как себя вести.

— Есть попытки создать законы, которые будут это регулировать, но не всё, что допустимо с точки зрения закона, является приличным, а то, что неприлично, вряд ли можно запретить с помощью параграфа. Не имеет смысла создавать закон, запрещающий чавкать во время еды. Этому учит или не

учит мамочка. А тому, как следует вести себя в научной сфере, вас учит ваш преподаватель. Молодые люди, глядя на того, у кого они пишут диссертацию, кто умнее их (по крайней мере, на определенном этапе их жизни), видят, что этот человек определенных вещей не делает. Зато делает что-то другое, так как считает это своей обязанностью. Независимо от того, получит он следующий грант или не получит.

— Вы считаете, что это возможно при массовом образовании?

— Разумеется, да. Но только за это следует взяться соответствующим образом. В девяностые годы у нас была идея приватизировать высшее образование. Это была идея, родившаяся в студенческой среде. Было создано несколько хороших частных вузов, главным образом в Варшаве: школа Козьминского (Академия Леона Козьминского), Высшая школа социальной психологии, школа Элиаса. Я использую эти имена, поскольку они говорят о том, что школа хорошая и живет она идеалами их создателей или патронов, сознательно обращаясь к традиции, которую воспитанники этих мэтров-педагогов хотят продолжать. Эти вузы в общественном мнении связаны с конкретными именами, и это имеет огромное воспитательное значение. Это обязывает последующие поколения студентов стараться быть достойными высоких образцов. Но раз уж вы заговорили о массовости... Большинство частных вузов оказалось, к сожалению, фабриками дипломов.

— Может быть, это было неизбежно?

— По всей вероятности, да. Я думаю, однако, что этот эксперимент — а в условиях того времени это действительно был эксперимент — можно было как-то контролировать. По крайней мере, не надо было создавать очередные вузы, которые не сулили ничего хорошего. В середине девяностых годов уже было понятно, что происходит. Наша научная общественность этого не сделала, так как ее представители черпали выгоду из сложившейся на тот момент ситуации. Именно это я считаю глубоко безнравственным.

— А я задаюсь вопросом, было ли то, что в слабых вузах плохо учили молодежь, сознательным отказом от принципа, гласящего, что так делать нельзя, или же это было незнание самого принципа?

— Не существует заповеди, запрещающей учить глупости. Если говорить серьезно, я считаю, что позволить, чтобы происходило такое — это просто цинизм, да еще с использованием закона, который это допускал. Натура человека

порочна... Большинство этих вузов следовало бы закрыть, на это указывает и демографический показатель, но надо помнить, что вузы эти выпустили целую армию людей, которые потратили деньги, и у них теперь есть «мусорные» дипломы, которые предоставляют им «мусорную» работу. Меня это очень угнетает, так как ... я приложил к этому руку, участвуя в создании Школы точных наук. Что из того, что это была как раз хорошая школа, в которой преподаватели работали на общественных началах? Мы не отдавали себе отчета в том, что как только вскрыется панцирь коммунизма, то из него выйдет масса призраков — и это коснется всей общественной жизни. Отчего же им не быть в научной среде?

— На это есть ответ: мы надеялись, что это будет элита. Элита, являющая собой образец.

— И это оказалось ошибкой. Ученые круги консолидировались и прекрасно действовали во времена коммунизма — мы оба были членами Общества поддержки и распространения наук, которое сыграло в этом процессе важную роль, голос которого был объединяющим. После падения коммунизма мы уже не были в состоянии играть эту роль, и Общество было распущено. Можно считать, что подобный ход вещей был неизбежен, что есть объективные законы истории и т. д., но меня не покидает чувство, что мы сделали что-то неправильно.

— А что можно было сделать? Что следовало сделать?

— Собственно, не полагается говорить об этом теперь, глядя из сегодняшней перспективы. Свободную Польшу в сфере политики начали строить люди — Мазовецкий, Геремек, Буяк, Фрасынюк — у которых в этом деле не было никакой практики. Зато они имели смелость уйти, поняв, что наделали ошибок. Они не оправдывались тем, что эти ошибки были неизбежными. За это я отношусь к ним с величайшим уважением.

— Какие ошибки совершили тогда люди, отвечавшие за науку и образование?

— Мое поколение я считаю ответственным за то, что мы имеем сегодня. Разделяя высшее и среднее образование, мы сделали большую ошибку, которая грозит нам драматическими последствиями. Если мы не поймем, что есть единый процесс образования, начинающийся с рождения и продолжающийся до смерти, то нам нечего мечтать кого-то догнать, перегнать, незачем говорить о каком-то обществе знания, инновационном обществе и т. д. Ведь в научных кругах даже не

помышляли о том, чтобы заниматься всеобщим образованием. Люди, взявшиеся реформировать систему образования (как бы мы их ни упрекали) были лишены нашей поддержки.

— А ведь у нас с этой точки зрения существуют прекрасные традиции. Многие университетские преподаватели довоенного времени прежде преподавали в гимназиях и весьма высоко ценили этот факт своей биографии.

— Конечно, но никто на них не ссылается. В девяностые годы эту проблему понимала вице-министр образования Ирена Дзежговская. В беседах с ней, как я думаю, зародился мой интерес к всеобщему образованию, которым я теперь главным образом и занимаюсь. В научных кругах звучат жалобы, что в вузы приходят все хуже подготовленные выпускники средней школы, но мы при этом ни в коем случае не желаем брать на себя ответственность за такое положение вещей. Учительские профсоюзы перестали быть тем, чем они были в истории Польши, то есть двигателями реформ в образовании.

— Во Второй Речи Посполитой по инициативе Союза польских учителей, членами которого были в том числе преподаватели вузов, создавались научные организации, взять хотя бы Институт педагогики.

— «Чтобы реформировать систему образования, мы должны восстановить Союз польских учителей и «Солидарность» учительства», — такой совет я даю политикам. Это не должно заменять деятельность в области окладов, пенсий и т. п., но сегодня участие в реформе системы образования — главная задача профсоюза.

— Вы начали с того, что мы не догнали США в области развития науки и совершенствования системы высшего образования, реализуя Лиссабонскую стратегию и болонскую систему. Я понимаю, что нам надо перестать догонять, а сосредоточиться на действиях, которые послужат объединению системы образования в единое целое и тем самым образом дадут шанс добиться более высоких результатов в научных исследованиях следующим поколениям?

— Мечта о том, чтобы перегнать, родилась, как я уже сказал, в минувшую эпоху. Она основана на убеждении, тоже характерном для минувшей эпохи, что можно спланировать развитие науки. По моему мнению, нельзя, даже имея самый современный инструментарий и много денег. Та гигантская цивилизационная революция, которая произошла в последние

десятилетия, случилась без новых научных достижений. Она потребляет науку, но не науку сегодняшнего дня. Известно точно, когда эта революция началась: 23 ноября 2001 года — когда в общественный обиход вошел iPod. Единственным открытием стало осознание того, что миллионы людей в мире купят это устройство, быстро научатся им пользоваться и уже не смогут представить себе жизни без iPod'a. Сегодня все выглядит иначе, чем на рубеже XIX и XX вв., когда владельцы крупных концернов усиленно внедряли науку в экономику. Теперь же сначала появился iPod, а потом «самообразовались» те пространства цивилизации, где можно это устройство — и быстро размножающиеся его производные — использовать. Нам необходимо начать иначе мыслить о роли науки в экономике.

— И какова же эта роль сегодня?

— Контроль за невидимой рукой рынка. Это не мой оригинальный тезис, но я разделяю это мнение. Экономические и экологические механизмы контроля краткосрочны, а для стабильности системы необходим какой-то элемент долговременный. А это как раз наука, которая сделает так, чтобы невидимая рука рынка, выражаясь несколько вычурно, не была рукой слепца. Но при условии, что она не будет заниматься только поставками все более нового оборудования, например, медицинского. Надо, разумеется, финансировать исследования в области новых, менее вредных, лучше усваиваемых радиоактивных элементов для лечения новообразований, но следует также выделять средства на то, чтобы некто умный мог в течение четырех лет сидеть и размышлять над тем, возможна ли совершенно новая терапия рака. Как раз в Польше у нас есть пример, как надо и как следует финансировать научные исследования. В начале века был создан — на средства с большим трудом полученные от Комитета научных исследований, так как дотаций от ЕС тогда еще не было, — Институт «ФАМО» в Торуни, который должен был заниматься современной квантовой оптикой. И именно в этой лаборатории, которая не уступает самым лучшим в мире, был создан оптический томограф глаза! Успех ученых увенчал выход научного достижения на биржу! Величайшее научное достижение, огромное достижение в практической медицине и важнейшее решение в области изобретения модели для организации научных исследований. А ведь при планировании работы института никто и словом не обмолвился о медицине. Чтобы проводить научные исследования, не нужны вузы или институты в каждом городе. Нужна небольшая группа людей, которых оставят в покое, не будут заставлять писать сорок

отчетов ежегодно, рассчитывать индексы Хирша и проверять алгоритмы...

— Слушая вас, господин профессор, я вспомнила весьма давние времена, когда я только начинала карьеру так называемого научного журналиста, и мы постоянно твердили, что надо ограничить отчеты, контроль за учеными, чтобы дать им возможность думать...

— Лауреат Нобелевской премии этого года Петер Хиггс сказал в каком-то интервью: «Меня сегодня выкинули бы с работы, так как я не продуктивен. За всю жизнь написал десять научных работ. Сидел и думал». Наука есть нечто совершенно отличное от деятельности инженеров, хотя и тем, кто думает, и тем, кто конструирует, необходимо разговаривать и сотрудничать друг с другом. Надо знать, чего следует ожидать от одних, а чего от других — это разные вещи. Невозможно развитие техники без предварительных фундаментальных исследований, а также без развития гуманитарных наук. Об этом знал и писал Вэнивар Буш в своей «Бесконечной границе». Я считаю, что об этом надо напоминать всем тем, кто принимает решения, касающиеся науки.

— Существует ли в польской научной среде, в менталитете ученых нечто способное сыграть роль хрусталика, вокруг которого будут создаваться новые научные основы, разворачиваться новая деятельность на новые времена?

— Такое «нечто» это... дети. Я вижу будущее науки, развитие технологий, перспективу экономического успеха в поколении, которое сейчас учится в средней школе. Именно поэтому в определенный момент своей жизни я принял решение — больше заниматься школой, нежели чем-то другим. Молодые люди в Польше, у которых есть сегодня маленькие дети, просто замечательные. Они воспитывают поколение, имеющее большие шансы. Меня раздражают политики, которые все время повторяют, что надо активизировать: то студентов, то выпускников. Не надо. Они прекрасно знают, что им делать. Надо создать им условия — не выдавать «мусорные» дипломы, а постоянно повторять, что они имеют право поступить в хороший университет в студенческом городе, где они получают не только глубокие знания, но смогут ходить в театр, играть в студенческом оркестре, общаться в кафе за чашечкой хорошего кофе. Таким настоящим студенческим городом является сегодня Торунь. Университет там действительно является, говоря избитым языком плаката, культурообразующим центром, а также играет важную роль в жизни жителей этого города.

— Дети, которые сегодня учатся в средней школе, будут студентами, вероятно, в иных, по сравнению с нынешними, условиях. Мы, наверное, не можем до конца предугадать, как это будет.

— В 1989 году на нашу долю выпало нечто весьма удачное. Перемена государственного строя в Польше произошла, когда в мире еще не было информационной и телекоммуникационной революции. Произошла гигантская цивилизационная революция, на которую Польша не опоздала! Нам не надо догонять. В каждом агро-туристическом хозяйстве на Мазурах есть доступ к Интернету, и для нас это совершенно естественно. Все эти тинэйджеры, живущие «в фейсбуке», они — общество будущего. Они лучше нас предчувствуют, каким будет тот мир, когда нас уже не будет. Надо им помочь. Им также надо объяснить, но таким языком, который они воспринимают, почему нельзя чавкать во время еды. Но в академической среде совершенно нет желания браться за это. Не хочет она понять, что молодежь уже совсем другая, и надо ей помочь, чтобы она была другой разумно. А они, молодые, иногда именно об этом и просят.

— Мы начали с кризиса науки в Европе...

— Кризис в Европе начался в 1968 году, когда безобразное отношение к молодым людям в вузах вызвало возмущение, которое привело к разгрому системы традиционных вузов. На смену этой системе пришло то, что в Европе, как оказалось, не работает. Нет крупных научных достижений, большинство очень хороших ученых уезжает в ту самую Америку, которую мы стремимся догнать. Но Европа протрезвеет, ибо она уже скребет ложкой по дну горшков с тем салом, которое накопила тяжким трудом после ужасной военной травмы, и которым она питалась до сих пор. Надо снова приниматься за работу.

— И это произойдет?

— Должно произойти. Наступит новая эра развития.

Лукаш А. Турский — ученый, профессор физики в Центре теоретической физики Польской академии наук, председатель программного совета Центра науки «Коперник».